

Тернацкий Дорожкин



ТРИЛОГИЯ

ТАЙНА

Иванов слагал стихи:

Жизнь ампутирована,
 светлой ночью нет ни слова правды,
 Ночью мертвой нет ни единой слезы...
 Убегает под землю река, ну пока!..
 Вот легкая, без жестов, рука, на века...
 Колодец тем глубже, чем надежней секрет,
 Проживет ли эпоха без бед на обед?

Он сочинял и прозу, писал от первого лица. Ему казалось, что только так можно мощно и полно выразить то, что внутри него самого. Короткое местоимение «я» всегда представлялось только началом страстного, глубокого монолога, исповеди, сжигающей душу до дна. Писать же от третьего лица – предательство по отношению к самому себе. Грамматические формы второго лица – просто ложь, ничего иного. Нет объекта интереснее «я», уж конечно не «мы».

В рукописи Иванов никогда не ставил значка начала абзаца, ведь тогда заветное местоимение оказывалось бы позади этого безликого, пустого обозначения. Он начинал свои рассказы с описания погоды: «Я всегда забываю, что на улице сентябрь, дождь, я так свыкся с тем, что нет солнца, пыли...» Или: «Я люблю осень, холодный ветер, непроницаемую дождливую ночь... Мне кажется, что ветер обнажает не только печальные мокрые деревья и полощет выцветшие флаги над государственными домами, – осенний ветер открывает что-то и в моей памяти. Точно, точно, именно в сентябре я встретил Марию...»

По Иванову выходило, что никогда на земле не было ни лета, ни весны – только осень, ожидание зимы. Может, потому, что в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед с деревянным скрипучим полом был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена – тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется, в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, – следы пуль были за-



метны и теперь. Потом в квартире поселился начальник в сером кителе, серых галифе, с желтым портфелем, но и за ним как-то приехали. В мирные скучные времена сюда заселились четыре семьи – десяток баб в засаленных халатах, чуть меньше мужиков в пижамных штанах и растянутых майках и не поддающееся счету количество детей – на трехколесных велосипедах, на горшках, в люльках. Мужики пили, бабы рожали, дети оралы – квартирный кризис становился все острее. И тогда пришла в чью-то распорядительную голову счастливая мысль отгородить часть коридора – получится еще одна комната. И получилась. Площадь – десять с половиной метров, вполне подходящая для «молодого» пятидесятилетнего писателя, поэта осени, живописца дождей. Высота до потолка – три с половиной метра; тусклая лампочка, висящая на грязной скрученной косичке электропровода, едва освещает только потолок, а внизу всегда мрак, поэтому взгляд Иванова сам собою тянется кверху, к пыльному свету, и эта постоянная задранность головы время от времени наводит на мысль о петле. Иванов пугается и успокаивает себя: «До этого потолка с веником-то – паутину обмахнуть – не доберешься, не то что с веревкой!..» Но все равно страшно. Светлый потолок притягивает, там смерть и жизнь, там в засадах сидят пауки, там вращаются вокруг стеклянного светила поздние злые мухи, там кружатся головы таинственных квартирных мотыльков.

Иванов, когда не сочинял рассказы и стихи, лежал на раскладушке, из темной глубины наблюдая за многообразными формами электрической жизни. Ему не дано было право распоряжаться чередованием света и тьмы, потому что его лампочка была только частью коридорного освещения и выключатель был расположен где-то у общей входной двери, и каждый коммунальный жилец, вернувшись с работы или из скобяного магазина, сняв печальные октябрьские галоши, мог по инерции щелкнуть выключателем, забыв, что, экономя коридорное электричество, он погружает в непроглядную ночь обиталище Иванова. Так жильцы и делали. Иванов смирился, утомившись бороться за свет, ведь в конце концов, думал он, ни один человек не может продлить день или остановить ночь.

Он мог бы и вообще обойтись без электричества, но ему иногда нужно было заносить на бумагу то, что собиралось у него в голове из раскладушечных коротких снов, наблюдений за пауками, обрывков соседских разговоров, воспоминаний об осени.

Он не всегда знал, какой осенний месяц на дворе – май или февраль. По частоте далеких утробных рычаний унитаза он догадывался: август, овощи, желудочные расстройства; по возбужденной коридорной беготне, перетаскиванию громящей кастрюльной утвари знал: апрель, дачное кочевье; январь был самым тихим, придавленным – даже дети оралы глуше, даже пьяницы осторожнее звякали пустыми бутылками, собирая их в мешки для обмена на полные.

Иванов иногда покупал водку, но даже два-три глотка ее разрушали жизнь. Ему хотелось тогда покинуть раскладушку и присоединиться на кухне к мужикам в пижамных штанах, играющим в подкидного дурака без перерыва с пятого марта пятьдесят третьего года. Он так и поступал прежде, принося с собой бутылку, держа ее за горлышко, как противопехотную гранату. Пижамная пехота поначалу принимала его в свои ряды, но на закуску он норовил притащить залитую дождями страничку экзистенциальной прозы или продрогший от ноябрьских сквозняков верлибр:

Шаг тяжелый не слышим. Не дышим, не живем!
Счет бездушный, послушный, ненужный все ведем.
Вавилон не разрушен! Мир ветрами простужен.
Мы идем и идем, и вопросов не знаем, и ответов не ждем...

Его прогнали от карточного стола, сказали: «Забери свою кислую водяру!» Он не стал надоедать, а когда изредка случалась водка, заворачивал бутылку на американский манер в кулак и шел в сквер имени Чапаева, садился на полосатую садовую скамейку у самого памятника герою сражений и анекдотов и, не торопясь, пил прямо из горлышка и обязательно встречал здесь замечательных собеседников. Чаще всего это были старики, глухие тетери, выгуливающие собак и правнуков. И те, и другие охотно слушали Иванова.

Но это было редко.

Еще реже случался праздник. В прошлом году областная газета под рубрикой «Для чтения на досуге» напечатала его стихотворение «Над мертвой землей», причем в заметке, рассказывающей об авторах рубрики, он был назван «нашим оригинальным писателем». Иванов хотел подарить один номер газеты Марии, постучал в дверь под номером три, но она не открыла, сказала: «Оставь меня в покое, прошу тебя!» Он еще постучал, и тогда вышел Вася Гришак, оттеснил его от двери большим мягким животом: «Катись ты к едрене фене со своими стишками!..» Но газету взял, так что неизвестно, прочитала ли Мария стихотворение с тайным ей посвящением. Но все равно хорошо публиковаться.

Мария переехала из комнаты Иванова в комнату номер три, к Гришаку, не так давно, осенью. Как раз на потолке расплылось огромное рыжее дождевое пятно, самое большое из всех. Тогда же сверху упал пласт штукатурки, разбил изумрудную, бутылочного стекла, цветочную вазу на комод, Мариину любимую. Она заплакала, сказала, всхлипывая:

– Не могу больше терпеть, не могу!..

Он не понял, бросился утешать:

– Ну, подумаешь, какая-то вазочка!..

– При чем тут вазочка?! – страшно закричала она.

– Тебе потолок жалко?

Она огляделась вокруг: облупленные стены, прикрытые двумя одинаковыми ковриками с изображенными на них мутными замками и оленями, тяжелый, кажется, гранитный, комод – приданое Марии, шаткая железная кровать на колесиках, больше похожая на могильную ограду, чем на ложе для любви и сна, платяной шкаф – деревянная Пизанская башня, два табурета с отверстиями для их переноски с места на место, и дубовое канцелярское кресло – самая надежная вещь в комнате. И все. Впрочем, на самой из ободранных стен висела еще картина в некрашеной багетной раме, подаренная некогда Иванову вечно пьяным художником Малыгиным. Картина была странная, на ней ничего не было, почти ничего. Малыгин на здоровенном холсте, на котором уместился бы и Днепрогэс, изобразил голую желтую равнину – пустую, уходящую за далекий, едва угадывающийся горизонт. На переднем плане картины ветер рябил желтую воду мелкой лужи, около нее на мокрой глине отпечатан след босой ноги.

Малыгин, даря живописное произведение, заинтриговал Иванова:

– На картине я изобразил и тебя, милый... Смотри внимательнее, и обнаружишь здесь свои растопыренные уши...

Теперь, когда Мария ушла к Гришаку и перетащила в комнату номер три комод, кровать, шкаф, табуреты и коврики, у Иванова остались только картина, раскладушка и кресло. А также много времени, для того чтобы попытаться понять, что же все-таки Мария не смогла терпеть. Он часто смотрел на пустое желтое полотно и пытался найти себя, но ничего не получалось.

Он как-то опять постучал в дверь номер три.

– Кто там еще? – спросила она, не открывая двери.

– Я!..

– О Боже!

– Маша, ты почему ушла от меня?

Он услышал, как она всхлипнула за дверью.

– Мне неловко напоминать тебе, – продолжил он, – но мы с тобой в некотором смысле муж и жена... Наш брак зарегистрирован...

Она всхлипнула громче.

– Я люблю тебя, даже больше – я привык к тебе...

Она распахнула дверь, встала на пороге, уперев руки в бока, – трэфовая дама.

– Я четырнадцать лет на курорте не была! – сказала негромко, но ясно. – Почему?

– Почему? – спросил он.

– Я девять лет ношу один плащ! Он надоел мне, как хронический насморк...

– Ты захворала?..

– Не издевайся! – закричала она и отмахнулась от возникшего было Гришака. – Я сто лет не была в театре, я никогда не пробовала черной икры, не пила «Мартини», никогда мужик не помогал мне снимать чулки, я всю жизнь раздвигалась сама...

– Неужели это так сложно? – успел вставить Иванов.

Она сверкнула глазами:

– У меня не осталось ни одной подружки! Почему? Вместо детей я считаю аборт...

К интересному разговору приоткрылись двери всех комнат.

– Я написал новый рассказ, посвятил его тебе, – сказал он.

Она захлопнула дверь, и для него так и осталось тайной, почему она ушла от него. И почему оставила кресло-трон, единственное из ее приданого, что не качалось, не скрипело, не кренилось?

«Я люблю смотреть в ночное окно, когда за стеклом не видно ничего – чернота, холод, – и не нужно отвлекаться от самого стекла: дождь каждую минуту меняет на нем свой рисунок: то несутся по нему реки, тонкие и скрученные, как узбекские косички, то медленной волной проплывает розовая лава, раскаленная моим взглядом... Хорошо, что так тихо, пусто... А вот целое чудо: по всей площади стекла, как по зеркалу, катится единственная капля. Но дождь не кончится никогда, и капля растворится в целом море воды... Нужен ли человеку кто-то, чтобы раствориться в нем? В них?..» – Иванов откладывал ручку, смотрел на освещенный потолок, потом на желтую картину: может, вот этот след на мокрой глине оставила его нога? Или он уже за горизонтом? А может, его портрет должен состояться из каких-то отдельных линий, штрихов, мазков? Может, его нужно собирать как мозаику из редких шаров перекаати-поля на холсте, каких-то плоских, унылых камней, желтой ряби на воде?..

Он не находил себя.

А неделю назад картина рухнула. Глиняной тяжести желтой равнины не выдержал ржавый гвоздь, разогнулся. И мир изменился. В одну секунду равнина стала отвесной скалой, лужа почти водопадом, перекасти-поле обернулось первыми глыбами начинающегося камнепада. Но и здесь Иванова не было.

Он попытался водрузить картину на место, но слабый от старости гвоздь тут же сломался. Иванов с трудом придвинул кресло к стене, взобрался на него, как на сторожевую вышку, попытался вытащить обломок гвоздя. Но ржавый металл упорно сопротивлялся. Иванов ободрал до крови пальцы, перепачкал вельветовую писательскую куртку красной кирпичной трухой, но гвоздь не поддавался.

Иванов постучал в дверь номер три.

Гришак вышел, как Челубей на битву.

– Вася, дай плоскогубцы на минутку, – попросил Иванов.

Вася молча вернулся в свою комнату и принес плоскогубцы.

– И еще молоток, – дополнил Иванов, – и гвоздь побольше...

Гришак не отказал ни в молотке, ни в гвозде, вопросительно уставился на Иванова: что еще?

– Может, тебе и бетономешалку подать? – закричала откуда-то из глубины комнаты номер три Мария.

– Пока не нужна, – сказал Иванов и вернулся в свою комнату, пятую.

Против плоскогубцев обезглавленный гвоздь не устоял, был вытасчен, как гнилой зуб, вместе с деревянной пробкой, в которой, собственно, и держался в стене.

И в это время (судьбу караулит случай) в очередной раз кто-то щелкнул выключателем у входной двери, и комната погрузилась в кромешный мрак. И тут же черноту насковозь проколола светящаяся спица.

Иванов оторопел: откуда здесь взялся солнечный луч?

Он потянулся к нему рукой, и на ладони возник оранжевый кружок, золотая копейка.

Он взгромоздился на кресло и убедился, что свет исходит из крошечного отверстия в стене, возникшего в результате операции по удалению гвоздя. Иванов приник к нему, как к окуляру, но ничего не рассмотрел – пучок света был ярок и горяч, слепил глаза.

Он снова отправился к двери номер три.

– Вася, дай, пожалуйста, отвертку, – попросил он у Гришака, – самую большую!..

– Может, ты гарнитур мебельный купил? – высунулась из-за спины Гришака голова Марии, вся в бигудях, похожая на голову той самой медузы.

Гришак подал ему отвертку, и в гришаковских влажных глазах промелькнула тусклая искра: Вася уважал мастеровщину; люди с коловоротами, ломами, паяльниками, рулонами обоев были ему очень дороги, потому что от них было много всякой пользы.

Иванов взял отвертку и вернулся в свою комнату.

Особых усилий не потребовалось. Наверное, торопливые каменщики в свое время переборщили в растворе с песком, а может, вообще обошлись без цемента, потому что едва он приступил к стене с отверткой, как посыпалась на пол строительная труха, и первый кирпич оказался в его руках.

За ним второй, третий, четвертый...

В комнату номер пять вошли лето, солнце, зной: в проеме небрежно сложенной стены Иванов увидел небольшую комнатку – три метра на три, а может и меньше, но в комнатке этой было окно – тоже совсем небольшое, под самым потолком, с занесенным пылью стеклом, но через стекло было видно голубое – без облаков, без туч, без дождя – небо.

Должно быть, строители, выгораживая из обширного коммунального коридора келью номер пять, решили не возиться с подсобной комнаткой – просто заложили ее, как бы не было вовсе этих квадратных метров общей квартирной площади. А может, здесь водилось вредное привидение, и каменщики поставили на его пути кирпичную стену, ненадежную, однако.

Чуть не половину комнаты занимал узкий деревянный топчан, рядом с ним стоял исправный с виду велосипед, а на полу горбился пропыленный ворох журналов, газет, серых коленкоровых книг. Иванов напряг зрение и прочитал название одной из них: «Устав караульной службы». «Полезная книга, прямая и правдивая, – подумал он. – На велосипеде тоже я давно не катался...»

В углу комнаты желтела раковина умывальника, а над ней почерневший водопроводный кран, из которого равномерно срывались тяжелые капли воды. Рядом с раковиной над полом возвышался, как плаха, унитаз. «Тут что-то вроде бытовки было», – догадался Иванов.

И все-таки главным в комнате было окно. Когда успел кончиться дождь за ним? Откуда взялось солнце?

Иванов легко спрыгнул с кресла, выскользнул в коридор, осторожно притворил за собой дверь. Из комнаты номер четыре навстречу ему вышел суровый партийный алкоголик Иван Павлович, марксист, закаленный борец с троцкизмом и оппортунизмом.

– Завтра в десять! – сказал он, распространяя летучий аромат разливного азербайджанского вина. – Без опозданий!..

– Конечно! – Иванов не умел отказывать, но ему хотелось хотя бы намекнуть на то, что произойдет завтра.

– Не забудь награды! – строго приказал Иван Павлович.

– У меня нет наград, только памятная медаль «30 лет освоения целины...»

– Очень хорошо! – похвалил старый партиец. – Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют!..

– Из латуни, – подсказал Иванов.

Иван Павлович внимательно посмотрел на него, как бы издалека, вздохнул:

– Эх, молодежь!.. Ничего не знаете, но не ваша вина... Тебя Родина наградила, а ты говоришь «латунь». Эта латунь дороже золота!..

– Наверное, – сказал Иванов.

– Примешь немного? – спросил ветеран, таинственно улыбаясь.

– Водки? Вина?..

– Вино кончилось, оно всегда быстро кончается. Осталась пролетарская! За наш праздничек!

– А! – вспомнил Иванов. – Завтра и демонстрация будет?..

Про себя подумал: «Откуда же солнце и зной в окне открытой им комнатки, на дворе-то, оказывается, ноябрь?»

– Будет, будет демонстрация! – сказал Иван Павлович и увлек писателя в свою, набитую добром, как сундук, комнату, усадил на пузатый диван под пор-

трет Феликса Эдмундовича Дзержинского, налил по стаканчику пролетарской, вытащил из пожелтевшего от скуки холодильника полкруга засохшей колбасы, предложил:

– За партию, а?! За Ленина, а?! За Сталина, а?! За товарища Кржижановского?! А?!

– Иван Павлович, хотите купить мою комнату?..

– Купить?! – едва не подавился водкой партиец.

– Ну да.

– Шутишь?

– Я, может быть, уеду скоро...

– Вера! – зычно гаркнул марксист. – Вера! Нинка! Петька!

Выкликнутые немедленно появились рядом с диваном.

Иванов оторопел: где же были они секунду назад? Может, болтались на вешалках в необъятном шифоньере? Или лежали, как стопка белья, в похожем на пиратский галеон комод? Или маялись невидимыми в глубине трельяжей, трюмо, овальных, квадратных – в рамках и без них – зеркал?

– А Колька где? – спросил Иван Павлович.

– За горохом поехал, забыл? – ответила Вера, жена и соратница. Если бы она была заключена не в синий габардиновый сарафан с помидорной кофточкой, а в мужской костюм из этой же благородной материи, то отличить ее от мужа было бы невозможно. И лицом, и фигурой – всей крупной статью, сверкающим взором – она была точной копией Ивана Павловича. И запах азербайджанского портвейна был тот же.

Детишки – Нинка, девушка с веслом, и Петька, неисправимый комсомолец, борец вольного стиля, интеллигент, – тоже были срублены по тому же образцу.

– А Вовка?

– Гуляет он, известно...

– Вот, гаденыш, пропивает денежки!.. Ну а Василий где болтается?

«Господи, сколько же их здесь живет?» – с ужасом подумал Иванов.

– Васька, котяра, у Зойки...

– Вот это хорошо! – одобрил Иван Павлович. – Может, женится...

– Ага! – неопределенно сказала девушка с веслом.

– Молчи, бестолочь! – приказал отец. – В общем, дело такое: человек комнату уступить хочет... недорого...

– Какой человек? – спросил Петька.

– Вот человек, раскрой глаза! – Иван Павлович жестом пролетарского вождя указал на Иванова.

Удовлетворение и понимание легко прочитались в глазах дружной семьи. В самом деле, для чего одному малополезному члену общества занимать столько жилплощади? Хорошо, что он сам понял.

– Покидаешь нас? – спросила Вера.

– В некотором роде, – ответил Иванов.

– Да что там! – помог ему Иван Павлович. – Надоела ему наша коммунальная кислятина! Он человек молодой, умный, ему перемена мест полезна. А мы поможем... в меру сил и средств... Он, глядишь, что-нибудь хорошее про нас в журнальчике тиснет. Тиснешь?..

– Само собой! – пообещал Иванов.

Иван Павлович махнул рукой на жену и детишек; те снова пропали в тяжелых пыльных коврах, высоких, как эшафоты, кроватях, пирамидах подушек, частоколе стульев и этажерок.

– Сколько ты хочешь? – спросил Иван Павлович. – Пятьсот американских зелененьких могу дать... И телевизор черно-белый, «Рекорд» называется...

– Не нужен мне телевизор.

– И литр столичной разопьем, с моей закусью...

– Я подумаю до завтра, – сказал Иванов и стал выбираться из комнаты ветерана.

– Не передумаешь? – спросил вслед Иван Павлович.

– Вряд ли! – пообещал писатель осени.

Он вернулся в свою посветлевшую комнату, уселся в кресло, задумался. «Чем жив человек? – размышлял он. – Всем известно, что надеждами. Самый серый, самый маленький, самый большой – все вокруг чего-то ждут. Вот сейчас, совсем скоро по телевизору разовьется мексиканская любовь, а чуть позже пойдет познавательная передача о мочекаменной болезни. Есть чего ждать! А послезавтра на родном кожевенном заводе выдача жалования, а там рукой подать до национального праздника всех народов – Нового года. Дальше неизвестность, но может быть, она полна счастливыми минутами: вдруг, наконец, найдется утерянный прошлой осенью в автобусе профсоюзный билет? Или удастся выиграть в спортивной лотерее хоть какой-нибудь приз – китайский цветастый термос или лопухий вентилятор?»

Надежды – лекарство для ходячих больных. А если нет мочи встать?..»

Он снова вышел в коридор и остановился у двери номер три.

– Мария! – позвал он.

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, придерживаемая стальной собачьей цепью.

– Ну! – сказала почти невидимая Мария.

– Я уехать собираюсь, Маша, – сказал Иванов.

– На Северный полюс, что ли?..

– Ближе...

– К брату в Сыктывкар?.. Нужен ты ему, как заноза в заднице...

– Я и здесь никому не нужен...

– Не скули! – чуть пошире приоткрыла дверь она. – Не разжалобишь! Найди себе бабу хорошую и живи как человек. Под ноги больше смотри, а не на потолок. На потолке пауки живут, а люди внизу, понял?..

– Да, – ответил он. – Хочешь, я тебе стихи последние прочитаю?

– Вот этого не надо, без стихов тошно...

– Конечно, без стихов тошно, – сказал он и добавил: – Ну ладно, пока!

– Пока! – ответила она и прикрыла дверь.

Ночью он начал новый рассказ, скорее даже эссе об осеннем одиночестве, неприкаянности человека, необъяснимости жизни и бесконечности холодного, равнодушного времени. Он написал несколько страниц, перечитал: недлинно, ясно, по-русски – что еще нужно для приличной прозы? Рассказ начинался словами: «Я думал, что дождь – навсегда...»

Наутро он не стал даже бриться, зачем, если все равно бороду отращивать? – и отправился по магазинам. Товар выбирал скромный – по деньгам, – но питатель-

ный: вермишелевые супы в пакетах, бульонные кубики, консервированные кильки в томате, рожки и простую серую вермишель. Купил сухого молока, тушенки, консервированных субпродуктов – еле дотащил до дома.

Постучался к Ивану Павловичу:

– Гони пятьсот долларов!

– Хитер, бродяга! – засмеялся борец за светлое коммунистическое будущее.

– Сначала надо бумаги оформить!

Иванов ужаснулся:

– Это же на годы растянется!

– Плохо ты знаешь нас, ветеранов!

И действительно, пришлось всего полдня мотаться по конторам и кабинетам, стучаться в двери и скрестись в окошечки. К вечеру были поставлены все печати, штампы и подписи на ворохе разноцветных бумажек. Иван Павлович протянул писателю, ставшему бездомным, четыре стодолларовых купюры.

– Где еще сотня? – спросил обескураженный Иванов.

– Ты думаешь, документы задарма оформляются? – ответил Иван Павлович.

– А телевизор как же? А литр водки?

– Это будет.

– Телевизор можете себе оставить. За это у меня одна просьба. Когда я уеду, повесьте на прежнее место картину... На той картине где-то есть я... Но где – не знаю, художник не сказал.

– Картина не помешает, – сказал новый хозяин комнаты номер пять, – пусть стены ободранные пока прикрывает...

На следующий день Иванов купил еще тушенки, вермишели, бульонных кубиков. И целый куль развесного грузинского чая. Обзавелся электроплиткой, кастрюлей, электрочайником. В писчебумажном магазине купил три сотни школьных тетрадей – чуть не полпуда. дождался вечера и отправился на прогулку. Как всегда, моросил дождь, на улицах было безлюдно, темно, тревожно. Светофоры на пустынных перекрестках не давали забыть о покинутости и обреченности города. Редкие машины проносились на огромной скорости, спасаясь от одиночества.

«Вряд ли я вернусь когда-нибудь сюда», – без грусти подумал Иванов. Он давно уже не любил этот город – с той же силой, что прежде любил. Он ненавидел натянутые струны троллейбусных проводов – они казались проволокой, вдоль которой бегают на цепи собаки и люди. Он ненавидел вагоновожатых, которые всю жизнь притворяются, что управляют трамваями, а трамваи послушны только судьбе, которая называется у них рельсами. Он содрогался при виде памятников – конные и пешие, неулыбчивые, затекшие в напряженных позах, они строго следили бронзовыми глазами за оставшимися в живых, как стервятники. Он не мог смотреть на горящие, как камины, витрины магазинов; особенно пугали его манекены, нарядные глиняные вампиры – они давно уже высосали всю кровь из блудливых продавщиц, из прикованных к щелкающим аппаратам кассирш и печальных от необходимости перетаскивать с места на место чужое добро грузчиков и уже подбирались к редким прохожим, тянули к улицам холодные, жесткие руки. Он не любил почтамты и телеграфы – там было больше вранья, чем в газетах, а в телефонных будках висели черные тяжелые трубки, которые за деньги норовили вцепиться своими пластмассовыми зубами прямо в сердце. Однажды, когда у Иванова случился небольшой гонорар, он пришел к между-

городному телефону и, сам не зная почему, позвонил по давнишнему номеру в далекий город, прилепившийся сейсмоустойчивыми фундаментами к отрогам Тянь-Шаня, и ему ответил молодой, как тридцать лет назад, голос Марии.

– Але, але! – закричал Иванов.

– Да! Да! – ответил голос.

– Это я! – сошел с ума Иванов.

– Слышу, я слышу!.. Почему так долго не звонил?..

– Не мог, – пробормотал он. – Жизнь заела...

Она засмеялась звонко, весело:

– Что заело?..

Давным-давно он увез Марию из этого города, она никогда больше туда не возвращалась, но голос ее почему-то остался там. А может быть, не только голос? А ведь только утром он видел, как она несла из кухни в комнату номер три кастрюлю с лапшой – Гришак любил наваристую куриную лапшу, – как же теперь могла Мария говорить с ним из междугородней трубки?

– Мария? – спросил он по телефону.

– Ну а кто же еще? – откликнулась она. – Ты какой-то странный...

– Какое сегодня число? – спросил он.

– Конечно же, тридцатое, вот чудак!

Он взглянул на календарик наручных часов. Календарик показывал двадцать девятое февраля.

– А год какой?..

Она помолчала немного, произнесла негромко:

– Это точно ты? Впрочем, кому еще придет в голову использовать междугородную связь для идиотских вопросов?.. Скоро приедешь?..

– Скоро, совсем скоро! – пообещал он и повесил трубку.

Месяца через два он снова набрал знакомый номер.

Мария ответила:

– Слушаю! Это снова ты?..

Он долго молчал, слушал ее голос:

– Говори же, говори... Пожалуйста, не молчи... Что случилось у тебя, что?..

Он больше никогда не звонил туда, размышлял: может, осталась в том городе у Марии племянница или младшая сестра? Или дальняя родственница? А может... Все может быть...

Иванов не любил театр. Там все было похоже на правду, но не было правдой: парики, грим, закулисный сумрак, притворство, быстрая и легкая с виду любовь, бутафорские пистолеты и пузырек валерьянки рядом с тюбиком вазелина...

Он давно не мог заставить себя пойти в кино. Он не хотел смириться с тем, что как ни крути, ни верти, а на экране все плоско.

Он боялся милиционеров. Ему мнилось, что вместе с пистолетами они получают путевки на отстрел двух-трех неудачников.

Он презирал дворников, своими жесткими метлами они сдирали с асфальта вчерашний день и загружали его в мусоровозы.

Он опасался ночи, темноты, не доверял дневному свету.

Иванов не любил в этом городе все.

На центральной площади города затеяно было строительство очередного фонтана, символизирующего безграничную власть народных вождей над стихией.

когда любая струя бьет только в указанном направлении. Днем у фонтана возились зодчие в оранжевых касках, вели наступление, а вечером над пустынным объектом болталась слабосильная лампочка, и каждый мог подойти ближе, проникнуться величием замысла. Иванов подошел, извлек из кармана целлофановый пакет, осмотрелся, обнаружил металлический короб с цементом и насыпал в пакет тяжелого серого порошка. Туда же набросал пригоршнями песка. Сверху куча песка была влажна, холодна, но стоило копнуть немного, и песок внутри оказался почти горячим, как в Сахаре.

Иванов вернулся в свою комнату, стал укладывать вещи. Набралось почти две сумки: рукописи, теплая и выходная рубахи, костюм-тройка с атласным жилетом, зимние ботинки, одеяло, домашние тапочки, немного белья, самопишущие ручки с пузырьками фиолетовых чернил, аспирин, валерьянка...

Он вытащил из стены еще несколько кирпичей и легко перелез в таинственную, забытую всеми комнатку. Перенес туда сумки с вещами, коробки с провизией, посуду, стопки тетрадей, пакет с цементом и песком, вынутые из стены кирпичи. Попытался открыть водопроводный кран, и ему это удалось почти без усилий.

Он смахнул с топчана пыльное барахло, расстелил одеяло и лег, закрыл глаза. «Вот так, – подумал он, – я еще жив...» И вдруг ему вспомнилась давнишняя детская считалка. Много лет назад он стоял лицом к стене дровяного сарая и произносил слова этой считалки, пока его голоногие друзья – Вадька, Колька, Наташка и Серега – прятались от него в тайные местечки огромного, захламленного городского двора. Никому не хотелось водить в этой игре, всем хотелось прятаться – чтобы тебя искали. А считалка была странная: «Раз, два, три, четыре... десять – царь велел меня повесить. Я висел, висел, висел, ветер дунул – я слетел. Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать! Кто не спрятался – я не виноват!...»

Не все успевали укрыться от зорких глаз водящего – и он не был виноват перед ними, кричал, что было сил:

– Вижу! Вижу! Выходи! Я тебя застукал!

Иванов усмехнулся и спросил негромко:

– Ну что, кто тут еще не спрятался?..

Никто ему не ответил.

Строгий марксист Иван Павлович два дня и две ночи с нетерпением ожидал, когда же придет прощаться и передавать ключи от комнаты номер пять мелко-травчатый писатель Иванов, но напрасно.

Утром третьего дня Иван Павлович решительно постучал в дверь напротив. В ответ ни звука. Он постучал еще решительней, и дверь отворилась. В комнате с ободранными, грязными стенами никого не было. Провисшая унылая раскладушка, засыпанное штукатуркой, заляпанное цементным раствором кресло и непонятная картина с желтой страшной пустыней – вот и все, что здесь было. Мерзость, беспорядок, неодушевленность.

– Вера! Нинка! Петька!.. – позвал Иван Павлович, и дружная семья выросла у него за спиной.

– Всю эту дрянь, – обвел он рукой комнату, – на свалку! Хотя картину можно оставить, вдруг дорогая? И сегодня же начнем штукатурить, белить, красить!.. Тут работы на год, но сделаем не комнату – конфетку!..

Но Иван Павлович ошибся, ремонт был закончен в считанные дни. Сказались пролетарские навыки, дисциплина и целеустремленность. Комната засияла чисто-

той и уютom. Из нее исчезли мохнатые пауки, бледные электрические бабочки, раздраженные осенние мухи – в комнату вместе с диваном, телевизором, торшером, журнальным столиком, трельяжем и вазой с восковыми цветами пришло лето.

Иван Павлович был доволен, еще бы! Но иногда он смотрел на пустыню, заключенную в багет, и странное тревожное чувство посещало его, как будто на самом деле где-то на картине находился писатель Иванов и прекрасно знал, что происходит в комнате номер пять. Иван Павлович отгонял наваждение стаканом портвейна; портвейн и от других болезней помогал.

А Мария об Иванове не вспомнила ни разу.

ШАМБАЛА ИВАНОВА

Жизнь быстро проходит, думал Толик. Добываешь деньги, бьешься за существование, время от времени обжимаешь девочку, пьешь пиво, опять добываешь деньги, а она знай себе проходит. Просто обрушивается, обваливается, утекает. Иногда кажется, что сорвался с верхней перекладины приставной лестницы, летишь вниз, лихорадочно пытаешься ухватиться за другие перекладины, а они оказываются трухлявыми, разлетаются в сухие корябистые щепки при одном к ним прикосновении, и ты несешься к земле, круша все перекладины, задохнувшись от ужаса – этакий ксилофонный молоточек, выбивающий гаммы. В самом деле, вчера только было семнадцать, выпускной вечер, пароход до утра, таинственный свет в темной воде Урала, а сегодня уже двадцать девять – из училища, где он пытался превратиться в ученого сантехника, давно выгнали за какую-то мелочь, жена вышла как-то вечером в хлебный киоск за углом и не вернулась, деньги, вырученные от продажи квартиры деда, несгибаемого партийца Ивана Павловича, кончились пару лет назад, а такое ощущение, что и не начинались.

Он примерился, было, продать оставшуюся комнату – темную, без единого окошка, с тусклой лампочкой под потолком, но в родной стране разразился очередной кризис, интерес к покупке жилья у населения понизился; прибежал какой-то тип в кожаном пальто, в кожаной фуражке – смотрел, нельзя ли комнату перестроить в общественный сортир, уж очень теперь прибылен сортирный бизнес. В принципе, ему помещение понравилось – и этаж невысокий, и потолки выше трех метров, и площадь подходящая – народ бы косяком пошел справлять нужду, но мужик предложил смехотворные деньги, можно сказать, оскорбительные. В свое время дед Иван Павлович, занозистый и ухватливый старик, ничего, что редко трезвый, выкупил эту комнату у одного дурика, кажется, его фамилия была Иванов, за четыреста баксов. По тем временам деньги были немалые, ящиков двадцать бормотухи можно было взять, но даже тогда не каждый день комнаты обменивались на портвешок. Хотя в те поры и «Агдам», и «Талас», и славные номерные портвейны – двенадцатый, пятьдесят второй, знаменитые «три семерки» были чисты, крепки, ароматны, как молодость, но все же не многие решались, хотя, конечно, были герои отдать квартиру за двадцать ящиков. Даже за двадцать пять.

Так этот в кожаном пальто предложил три тыщи. По нынешним временам – мизер, но соблазн все-таки был большой. Он даже позвонил Алику, тот подпольно жил в общаге мясокомбината, поинтересовался – нельзя ли и ему перейти там на подпольное положение, а три тысячи прогулять – надолго хватит, года на полто-

ра, ну не меньше, чем недели на две, если экономить; а там война план покажет. Но Алик закричал, что за ним самим давно уже охотится комендант – не только из-за того, что он не прописан в общежитии, а потому, что, якобы, украл две сковородки у этой выдры Лельки из шестьдесят восьмой комнаты, у которой и ночевал прежде, прячась в женском туалете от облав. Теперь Алик обитает в прачечной в полуподвальном этаже, там snyкаться негде, и думает, что со дня на день его вышибут на улицу, а на дворе октябрь. Придется зимой морозить жопу где-нибудь в теплотрассе, как бомж поганый. И еще хорошо если на улице окажешься, а то заметут в миграционку, паспортов-то, само собой, на всех не хватает, и вывезут в какое-нибудь дружеское государство, где и самим жрать нечего. С Вадиком Мохнатым так и вышло: вычислили его ментозавры на подложке, где он жил в тепле у отопительной трубы – горя не знал. Скрутили его, спрашивают документы, а откуда они у него, от сырости? Кто таков, откуда и зачем? – спросили у него, а он возьми и брякни:

– Из Гондураса я...

Или какую-то похожую страну назвал, не в этом дело. А в том, что погрузили его сначала в машину, а потом в самолет и отправили куда-то очень далеко. Мохнатый, конечно, вернется, плохо его ловили знают. Мохнатого, как лосося, на место рождения тянет, но времени ему понадобится немало, все-таки Америка она где? Не каждый и знает где. Если Гондурас, конечно, в Америке, а не еще дальше – может, в Антарктиде? Говорят, там потеплело и земля антарктическая дорожает, может, поэтому и мотанул туда любознательный Мохнатый?

– Так что до лета потерпи, – сказал Алик Толику, – а там продадим твой склеп, еще и цены вырастут, сами палатку китайскую купим, закатимся куда-нибудь на Урал, бухать будем, как белые люди.

– А сейчас мы, что ли, черные?..

– А то какие же? Кости, может, и белые, но их пока не видно... А все остальное у нас черное... Даже под ногтями...

– Да ладно тебе чернить все... Если бабла нет, то это не значит, что у меня под ногтями черно...

Алик захохотал в трубку и спросил:

– А что – чисто, что ли? Только не ври!..

Толик посмотрел на черный оком ногтей и не соврал:

– Да уж почище, чем у тебя...

Известно было, что Алик три года не умывался, может, два. А уж ногти...

В общем, комнату он свою пока не продал, но надеялся, что кожаный еще передумает – даст хорошую цену, не поскупится ради прибыльного сортира.

Но это были перспективы, а пить и даже есть хотелось сейчас. Почти всегда.

В комнате его на стене висела странная картина, на которой простиралась вдаль желтая мокрая равнина, а на самом переднем плане отпечаток босой ноги, может, мужской, а может, женской, а может, чем черт не шутит, обезьяньей. Но откуда в наших краях обезьяны? Хотя как посмотреть... Вон в третьем подъезде живет образина, чистый орангутанг, хотя и зовут по человечески – Евлампий...

Внизу картины подпись – Малыгин. Это художника фамилия, а того дурика – Иванов, точно. Он и картину эту впридачу к комнате оставил, а сам пропал куда-то. Дед Иван Павлович рассказывал, что Иванов спрятан где-то на этой картине, не сам, конечно, а его изображение – и так секретно замаскирован, что с первого

взгляда не обнаружишь его. Во всяком случае, сам дурик так говорил, дескать, гадам буду, если вру – ищите меня здесь.

Толик много времени провел, разглядывая равнину, как будто ему было мало бесконечной желтой степи, взявшей город в осаду, но ничего не обнаружил. Но он верил, что Иванов каким-то хитроумным способом спрятан именно здесь; ему часто казалось, что с картины за ним следят внимательные глаза, но только где они?

Дед Иван Павлович уверял, что картина может стоить больших денег, потому что она – самая настоящая абстракция, а абстракция сейчас в цене. Дело всё в том, что люди рисовать разучились давно, но изо всех сил скрывают это – и те, кто мажет эти полотна, и особенно те, кто покупает, ведь они денежки свои вкладывают, думают, как в советскую сберкассу, что столько лет прожила без кризисов. А чтобы всё понятно и узнаваемо было – домик под красной, как закат, черепицей, синее-синее озеро, в которое смотрятся лебеди, пестрая акварельная красавица с веером – так уже не умеют, искусство высокое умерло. Поэтому, может, и вправду за картину денежки-то немалые положат? Толик, само собой, не очень верил поддатому пращур, но сейчас, когда особенно приперло, задумался серьезно. Еще раз посмотрел на желтую пустыню – тоска, похмелье, скоро зима... Продать, конечно, продать вместе с нерасшифрованным Ивановым, дуриком жизни!

Толик примерился: картина большая, веса в ней немало, килограммов десять потянет, но ради высокой цели можно поднатужиться. Он забрался на стул, приподнял картину – тяжеленная, правда! – попытался снять ее со стены. Но не тут-то было. Тараканы, отдохавшие под живописной сенью, недовольно разбежались, а картина не поддалась, висела на здоровенном ржавом гвозде, как ни в чем не бывало. Но Толик умел добиваться своего, особенно когда дело касалось выпить-и-закусить. Он рванул сильнее – и гвоздь вылетел из стены, долгожданная картина оказалась в руках.

А вдруг ей цена миллион? Или хотя бы сто тыщ? На крайний случай – тыща?

Он завернул драгоценность в газеты, укутал в холщовый мешок – все-таки в осеннем, дождливом городе выпало проживать – и отправился на улицу имени Зуанова, где, прикрывшись от дождей полосатыми пляжными зонтами, свили себе гнезда художники-побирушки, пристающие к прохожим: «Барышня, за пятнадцать минут высокохудожественный портрет!.. Мужчина, купите пейзаж!.. Женщина, проходите, на загораживайте клиента!»

Толик подошел к первому, дремлющему под капюшоном выцветшего брезентового плаща. Всё на нем было старое, седое, обтрепанное, даже огромная неопрятная борода.

Тот, не открывая глаз, сказал:

– Мужчина, купите пейзаж!..

Потом открыл глаза, произнес:

– Проваливай!..

– Картину продаю, – сказал Толик.

– Какую? – равнодушно спросил художник.

– Хорошую! – честно сказал Толик. – Абстракция... Дорогая, но за пару сотен отдам...

– Покажи, – едва-едва проявил интерес художник.

К нему подтянулись и остальные обитатели полосатых зонтов.

Толик развернул мешковину, содрал газеты:

– Налетай!..

Страшный хохот потряс улицу имени Зузанова. Громче всех ржал бородатый.

– Ой, не могу! – ревел он. – Щас помру, абстракция!..

Толик сумел все-таки вставить слово:

– Ладно, сто пятьдесят!.. Сто...

Бородатый пересилил хохот:

– Чудо в перьях! Видишь здесь подпись – «Малыгин»? Так вот, будем знакомы,

Малыгин – это я... Мне же впариваешь мою картину... И ваще, нашел кому продавать картины – художникам, они сами не знают, куда их девать...

– Пятьдесят! – не растерялся Толик.

– Уговорил, – вдруг согласился Малыгин. – На бутылку я тебе дам...

Художник повернул к себе картину, погрузился:

– Сколько лет прошло, однако? Годищев пролетело немерено... Сто лет назад эту картину я подарил другу – Иванову... Он вскорости после этого и пропал. У тебя она откуда?

– Мой дед ее купил у вашего Иванова вместе с комнатой...

– Не слышно о нем ничего? Может, весточку какую прислал?..

– Не знаю, как будто не присылал... Да и кому? Народ в квартире поменялся давно, теперь это не коммуналка, а типа общежитие... Жена его бывшая Мария со своим новым мужиком Гришаком подались в хохляндию, дом там срубили, живут толсто и тепло.

– Странно... Пропадают люди. То ли их инопланетяне крадут, то ли сами от жизни убегают. А куда? – вот вопрос. Куда можно убежать из этого города в песках, от этого дождя, от этих картин? Можешь сказать?..

– Не знаю, – сказал Толик. – Зачем убежать?..

– Ты про царство Беловодское слышал? – спросил Малыгин.

– Алик, кажется, про чего-то такое говорил, – соврал на всякий случай Толик.

– Да и сам я вроде читал – в «Комсомольской правде»... Оттуда тоже бегут?..

– Туда бегут, читатель... Говорят, там самое счастливое место на всей Земле...

Все надорвавшиеся души туда стремятся...

– Аааа... Понятно... А чего, там демократия тоже? Или царизм?..

– Мало кто из Беловодии возвращается, еще меньше рассказывают. Но, должно быть, царизм, если царством зовется... Время от времени объявляются люди, как будто оттуда, но путано рассказывают, может, подписку при выезде давали?..

– Ты про Шамбалу говоришь? – встрял один из художников. – Она в Гималаях находится, всем известно. Вот мой дедушка в двадцать первом году был там в составе дружеской делегации, ему не понравилось, воздух там сильно разреженный... И питание неважное, мучного мало...

– Он твою бабушку с собой брал? – спросил Малыгин встрявшего.

– Зачем? – удивился тот. – Там же чистый экстрим в горах, камнепады, медведи и наскальные козлы... Бабушка бы не прошла...

– Вот поэтому ему и не понравилось, что бабушка не прошла. А прошла бы, то пекла бы ему пироги с мясом наскальных козлов... И ему бы понравилось...

– Место это называется Белый Остров и находится оно в пустыне Гоби, – встрял другой. – Уверяют, что это город Богов... Но его увидеть нельзя, потому что он существует только в эфирной материи, и когда род людской на Земле

разовьет эфирное зрение, город счастья будет найден. К слову сказать, эфирное зрение уже развито кое у кого из людей... Вот взять тех, кто смотрит на мои картины...

– Послушай, Анвар, к тебе клиентка – хочет в анфас портрет, – позвали художника к станку, и Толику с Малыгиным не удалось дослушать, что же случается с теми, кто смотрит на его картины.

– Эх, нет заказов, – сокрушился Малыгин, и предложил: – Может, вместе скрасим этот осенний денек?

– У меня денег нет, – быстро сказал Толик.

– Да это я давно понял... Пойдем, посидим где-нибудь.

– В кабак? Чего деньги тратить зря! Знаю я эти обжираловки-надираловки – не накормят досыта, не напоят допьяна, а обдерут как липку!.. Может, ко мне закатимся, у меня комната, в ней как раз и жил раньше ваш Иванов?..

– Твое бескорыстное предложение я принимаю, – сказал Малыгин, – потому что некогда мы с Ивановым славно выпивали под его тусклой лампочкой, и это было чудесно, он прочитал мне тогда только что завершённое свое стихотворение. Помнишь, «Осенняя жизнь, любовь в октябре...»? Не помнишь?.. Ну да, что вы, молодые, помните?.. Хорошо, хорошо, пойдем!.. Хотя, признаться, я не очень люблю закатываться пить в берлоги, потому что они засасывают надолго. Путь в берлогу – это кратчайший путь к запою. Кстати, феномен, не объясненный современной наукой. Однажды в одной уютной кочегарке мне удалось переждать зиму; я в конце листопада зашел туда с бутылочкой к одному хорошему другу, он, кстати, гроссмейстер по шахматам, а удалось выбраться только в славную пору цветения акаций. Так что в прожитых мною годах одной зимы не хватает. Но какие мы вели там споры! Какие идеи рождались! Что может быть плодотворнее многомесячных дискуссий, перемежаемых чарой доброго вина и здоровым, беззаботным сном?..

Они пришли в обиталище Толика, не забыв перед этим заглянуть в магазин, где на вынос и на розлив торговали утешением. Было бы желание утешаться.

Малыгин оглядел комнату, сказал:

– Ничего не изменилось...

– Мы ремонт делали, побелку, – обиделся Толик.

– Да я не это имею в виду, атмосфера как будто та же...

– А что с ней, атмосферой, сделается? Она всегда одинаковая: денег не хватает, зато говна выше крыши...

– Тогда наливай! –скомандовал художник новому другу.

Выпили, потом еще. Поговорили о жизни, как-то всё в ней не клеится. Выпили еще. Во весь рост поднялись творческие проблемы. Васька Подорожный, собака, перехватил клиента, а заказ был – мечта – художественно облагородить один банчик, короче, написать десяток портретов ихних воротил: кого с книжкой в руке, кого на коне, кого с тростью, чтобы личину бандитскую прикрыть; заплатить обещали сказочно.

Выпили еще. Вспомнили жен.

– Ты женат? – спросил Малыгин.

– Ага, – ответил Толик. – Кажется...

– Она не заявится? – встревожился художник. – Кайф не обломает?

– Не должна вообще. Два года не заявлялась, а чего ей сегодня нарисоваться?

– Резонно, – похвалил его за сообразительность Малыгин. – А я не женат больше... Раньше раза три был, но не вынес... Мы художники – свободу превыше всего ценим...

Выпили, чутко закусили. Задумались надолго. Стало как будто смеркаться. Малыгин прервал молчание:

– Хотел бы ты попасть в Беловодье? В Шамбалу?..

Видимо, не давал покоя ему этот вопрос, бередил душу.

– Чего я там забыл? – чистосердечно признался Толик. – Были бы деньги, так я дальше гастронома вообще не ходил бы...

– Мракобес ты, – беззлобно сказал художник. – А я хотел бы... Там происходит накопление и объединение энергий искупления. Там все греховодники помилованы будут. Вот что написано про нее...

Он достал из кармана старую, истрепанную вырезку из газеты, прочитал: «Это таинственная страна, жители которой знают законы управления природой и человечеством...»

– Зачем управлять-то тебе человечеством и природой?.. Живи, рисуй... И зачем тебе помилование, ты, что ль, убил кого-то?

– Убил... Еще как больно угробил!..

– Жену? Тещу? Человека какого?

– Человека. Себя...

– Шутишь, шутник, – сказал Толик и потянулся за стаканом. – Давай лучше за друга твоего выпьем, Иванова. Кстати, на этой стене висела твоя картина, вон гвоздь из стены вылетел.

– Оттуда как будто свет идет, – заметил Малыгин, – смотри, лучик закатный пробивается сквозь стену. Там что, квартира соседская?..

– Нет там никакой квартиры! Да и никакой лучик не пробивается. Тебе показалось. Лучше вздрогнем.

– Это мы успеем. Все-таки пробивается!..

Малыгин подошел к стене, поднял ладонь к тому месту, откуда вылетел гвоздь. И на нее лег крошечный световой зайчик. Художник подтащил стул, поднялся на него и прильнул глазом к отверстию в стене.

– Ничего не разглядишь, но какое-то помещение там определенно есть. Давай дырочку расковыряем побольше, может, там клад какой... Здание-то еще какого века, всё может стать!..

– Давай, – нехотя согласился Толик.

Он не верил в клады, Шамбалу и даже в снижение цен на водку, о которой ему не уставал твердить Алик, дескать, государство богатеет и должно пойти навстречу народу, снизить цены на товары массового спроса.

Малыгин принялся столовым ножом расковыривать дырку в стене. Посыпались штукатурка, кирпичное крошево, цементная пыль. Он снова заглянул в расширившееся отверстие и тут же отпрянул:

– Боже!..

– Что там? – спросил Толик. – Деньги?..

– Посмотри сам!

Толик с опаской заглянул в отверстие. И едва удержался, чтобы не закричать. В крошечной комнате на узеньком топчане лежал мужчина в костюме-тройке, атласном жилете. Рядом, склонившись над ним, сидела женщина, ее рыжие осен-

ние волосы были рассыпаны на груди мужчины. Толик хотел окликнуть их, но присмотрелся, и слова застряли в глотке: и мужчина, и женщина были мертвы.

– Мертвецы? – шепотом спросил он художника.

– На живых не похожи... Но и на мертвых не очень... Как будто спят, но не дышат...

– Э-э-э-й-й! – едва слышно все-таки подал голос Толик.

Никто не откликнулся, кроме художника.

– Вот это клад! – сказал на глазах трезвеющий Малыгин. – Что делать-то будем?..

– По ментам теперь затаскают, по судам и комиссиям, – сориентировался Толик. – Замуровать опять все надо, и дело с концом...

– Замуровать-то просто... А как потом ты жить здесь будешь?..

– Нет, нет, страшно, боже! – Толик вспомнил, что крещен, перекрестился.

– Надо всё равно посмотреть, что там к чему, – сказал художник. – Кто знает, что там найти можно...

Толик боялся мертвецов, но еще больше боялся, что чего-нибудь найдут без него.

– Давай, – сказал он не без внутреннего содрогания, – залезем...

Кроме кухонного ножа, в хозяйстве Толика нашлось не то долото, не то стамеска. Они оба с художником не знали, чем эти благородные инструменты могут отличаться друг от друга. Но как бы ни называлась эта полоска стали, она помогла друзьям справиться с кирпичной кладкой; не прошло и часа, как они стояли у проема в стене, размер которого вполне позволял им обоим попасть в таинственную комнату. Но они не торопились, потрясенные открывшейся картиной.

Мужчина и женщина в комнатухе как будто играли в «замри», да так искусно, что ни дыхания, ни малейшего движения не было заметно. Но вот сейчас они поднимут головы, улыбнутся, скажут: «Вот как мы вас разыграли!..» Но они были недвижимы... Малыгину даже показалось, что они попали в музей восковых фигур – где еще такое можно увидеть? Через минуту войдет снулая служительница и потребует предъявить билеты. Но служительница не вошла.

Так нереально было нечаянное открытие, что друзья все не решались перебраться в комнату.

– Как же они сюда попали? – прошептал Малыгин. – Загадка...

– Может, они еще с позапрошлого века тут сидят? – предположил Толик. – От революции спрятались?..

– Думай, когда говоришь, посмотри, как они выглядят... одеты современно... А тут ведь даже дверей нет... Сюда ни зайти нельзя, ни выйти... Они замурованы, понимаешь?!.. Жуть!

– А вдруг здесь вход в другой мир? – выказал Толик знакомство с фантастикой. – Вон, посмотри, в оконце солнечный свет пробивается, а мы сюда шли – дождь шпандырил?.. Да и вечер уже...

– Дожди приходят и уходят, – ответил художник. – Давай все-таки заберемся в эту комнату.

Он быстро перелез через проем в стене. Толик с опаской последовал за ним.

Малыгин осторожно подошел к мертвецу, присмотрелся, ахнул:

– Так это Иванов!.. Точно он! Бедняга!.. Что же здесь произошло?.. Они просто живые... Может, летаргия?.. Да нет, не дышат...

Друзья огляделись. Несколько книг, бумага, ручки, карандаши, велосипед, пакеты с супами быстрого приготовления, консервные банки, ложка и нож, – и больше ничего. И разбросанные по комнате школьные тетрадки; они валялись на полу, лежали на топчане, даже в раковине – распухшие от влаги, даже на подоконнике крошечного окошка.

– Не могли же они жить здесь, – сказал Толик. – В пустоте такой...

– Ты сам-то почти в такой обитаешь... человек привыкает...

– Так у меня дверь есть, могу встать и уйти...

– Легко уйти, – раздумчиво произнес художник. – А вот ты попробуй не уходить...

– Чего ради? – ответил Толик. – Человек – существо передвижное, и даже придумал для убыстрения своего движения паровозы, самолеты и пароходы, вон велосипед – тоже для убыстрения, – и зачем человеку сидеть в четырех стенах?.. Если, конечно, тебя не заперли...

– Наверное, в детстве тебя в чулане не раз закрывали, признайся!.. Наверное, пракудил немало?.. Закрывали?..

– Нет! Никогда, – соврал Толик и покраснел, вспомнив, как суровый дедушка Иван Павлович за ухо таскал его в кладовку и запирали за неблагоприятные поступки.

– Говоришь, продал он свою комнату вам? – прервал его воспоминания о золотом детстве Малыгин. – А сам уехал?..

– Продал...

– Да куда он не уезжал, – сказал Малыгин, – просто переселился сюда...

– Сам себя замуровал?.. Вместе с бабой?..

– Боже праведный, как должно было всё здесь осточертеть! – ошарашенно сказал художник. – Чтобы добровольно заточить себя!.. Как нужно, чтобы все опротивело, набило оскомину, приелось до тошноты, до блевотины!.. Я многое могу понять, но представить такую степень тоски, чтобы живым залезть в склеп, выше моих сил!..

– Может, они испугались чего-нибудь? – предположил Толик. – Некоторые от долгов прячутся...

– Может, и испугались, – согласился Малыгин. – Мне самому иногда страшно просыпаться... Жутко на улицу выходить... У меня друг был, тоже поэт, так тот мечтал за границу уехать, говорил, что там свобода творчества, там охраняются права человека... Просто бредил за границей, язык учил, документы подавал – ему отказывали, а он снова подавал. Наконец, его отпустили, он вырвался и помчался, как с горы на лыжах. Так года не прошло, как стал канючить, дескать, попал он в общество бездуховное, потребительское, равнодушное к маленькому человеку. Страшно там ему. Теперь просится назад, тоскливые стихи пишет. А придет, и здесь ему неуютно будет. Впору замуроваться где-нибудь в подвале...

– Человеку не угодишь, – отозвался Толик.

– Человек сам себе угодить не может, – заметил художник.

Толик взял одну из тетрадок, перелистал. Мелким, неразборчивым почерком были исписаны ее страницы. Толик поднял другую тетрадь – те же неровные строчки. Третья, четвертая тетрадь и еще с десяток были покрыты этими записями.

– Роман они, что ли, писали? – сказал Толик и попытался прочитать написанное в одной из тетрадей: «...сплошная суббота, когда не надо, проснувшись до света, тревожно ожидать звонка будильника и потом тащиться на остановку

автобуса, где уже поджидают тебя две сотни локтей, изготовившихся для атаки. Отгул навсегда, отпуск без границ, жизнь без обязательств... и, в общем, без обстоятельств... Триумф воли... Или безволия? Впрочем, сейчас для меня это одно и то же...»

– Это не роман, – сказал художник. – Это высший из жанров – голая правда... Дай-ка мне тетрадку...

И он продолжил читать: «...понял не сразу, что бумага и перо – не для пересказа придуманных или приукрашенных историй; не для этого изобретены эти инструменты познания. Может, для того, чтобы объяснить себя себе?.. Я уверен был, что здесь стихи будут рождаться во мне какие-то особенно неистовые, сокровенные, но в первые дни после переселения сюда сумел написать только несколько вялых строк... И все. Я не сразу понял, в чем тут дело. Думал, что нужно еще привыкнуть к тишине, пустоте, свободе, словом, ко всему тому, что дает полное одиночество. Надеялся, что вот однажды рухнет плотина прошлой жизни, растворятся воспоминания и надежды, и мне только придется успевать записывать строчки на бумаге, но этого не произошло. И не потому, что утрачена чисто декоративная сторона версификации – никто не услышит и не прочитает эти строки, не потому... Я долго размышлял над этим, благо времени было достаточно, или его не было совсем, ведь я не считал больше его, не вел ему учет – и пришел к выводу, не сразу, а, точнее сказать, просто почувствовал однажды это: теперь я сам стихотворение, не больше и не меньше. Всё во мне – и ритм, и рифма, и настроение... Так отчетливо все слышно... Сегодня ночью опять снилась Мария...»

– Постой, постой, – прервал чтение Малыгин, – он пишет только о себе – о полной тишине, пустоте, свободе, нет даже намек на то, что их здесь двое...

– Точно! – подтвердил Толик. – Я и смотрю, что топчанчик здесь такой, что не уляжешься вдвоем. Может, они по очереди спали?..

– Да, тайна... Читаем дальше.

«...почему-то вспоминается давно прошедшее, а не то, что было не так давно. Странно и то, что люди как бы раздвоились в сознании, я никак не могу соединить тех давнишних с теперешними. Они не просто изменились – постарели, поседели, похудели или стали тучнее. Это другие люди. Другие, вот в чем дело. Те, прежние, живут где-то своей тогдашней, не изменившейся жизнью, и, наверное, среди них есть и я, тот самый, которого так любила одна девочка из города Чимкента и который так и не понял этого; там люди никогда не изменяют, не изменяются, и им никто не изменяет. В этих местах всегда тепло и солнечно, на речках сумасшедший клев, дни бесконечны, ночи обжигающе коротки... В новой жизни всё иначе: солнце только иногда показывается в просветах октябрьских туч, в мутных реках давно нет рыбы, дни проносятся, как стрижи над водой, ночи никогда не кончаются... Мне кажется, что прежние, они тоже стареют, их одолевают хвори, с ними приключаются неприятности, а изредка выпадают и счастливые деньки, но они, как тридцать лет назад, как двадцать, как всегда, готовы выбежать из дома к вам навстречу, отправиться куда угодно, не задавая дурацких вопросов и не поглядывая беспрестанно на часы, они всё так же не обращают внимания на ваши истрепанные брюки, не спрашивают, есть ли у вас деньги, они ржут до упада над анекдотами, которые вы им рассказываете в десятый раз, они через пламя костра смотрят на вас глазами, в которых пляшут язычки огня, и им три ваших

минорных аккорда на расстроенной гитаре заменяют оркестр, и они подпевают: “Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза...” Но им, конечно, не надоело любить эти глаза; они всегда и безнадежно влюблены, и рифмованной грустью полны их сердца...»

– Пока не очень понятно, – прервался на минуту Малыгин, хлебнул винца, продолжил:

«Как-то очень давно проходил я мимо междугороднего телефона, и меня вдруг как будто ударило: “Позвони, позвони, там ждут...” А куда “позвони” и где “ждут”? Но рука сама собой набрала телефон Марии, тот самый, давнишний, когда мы вместе жили в Алма-Ате на улице имени Фурманова, и по вечерам она звонила матери и говорила, что нужно выгулять собаку, брала свою неугомонную колли, как же звали ее? – и выгуливала по ночному городу, и меня тоже, а как раз начиналась осень – сентябрило – и брызги фонтанов казались дождем, а желтой листвы почти еще не было... С тех пор прошло тридцать лет, и я позвонил. Почему-то я был уверен, что мне ответят, хотя и дом тот давно снесен, и номера телефонов стали семизначными... И она ответила, спросила, почему я так долго не звонил.

– Не мог раньше, – ответил я, – дела по рукам и ногам повязали...

Она рассмеялась молодо, звонко, как раньше.

Я переспросил:

– Мария, это ты?..

– Конечно, кто же еще? – откликнулась она. – Ты какой-то странный...

Да, я был странный, потому что не поверил этому юному голосу Марии. Не могло быть, чтобы она разговаривала со мной сквозь бетонную толщину тридцати лет, не может быть, чтобы ее смех жил отдельно от нее, чтобы она прежняя существовала отдельно от нынешней, живущей с работающим, надежным Гришаком. Не могло быть, но было.

Целых два месяца прошло, пока я опять решился набрать номер. И Мария снова ответила мне.

– Что случилось у тебя? – спросила она. – Что?..

Я положил трубку и больше никогда не звонил, потому что поверил. Но как ей объяснить, что же случилось со мной?.. Что случилось и случается со всеми нами?..

Но сегодня я мог бы позвонить... Очень отчетливо представляю Марию. Вот ее тонкая рука, на безымянном пальце которой тускло посверкивает скромное колечко со знаками зодиака. Мы его вместе покупали – это было тоже в начале осени. Когда она примерила колечко, то сказала: “Какое холодное!”, но потом оно прижилось, стало теплым, как ее ладонь. Этой рукой она подпирает щеку, когда читает книгу, и виден ее знак зодиака – скорпион... Другой рукой она часто поправляет осенние свои волосы...

Каждую ночь снится Мария, наверное, это от свалившейся тишины...»

– Погоди, погоди! – художник отложил тетрадку и присмотрелся к таинственной женщине, застывшей в скорбной позе над трупом. – Точно, посмотри!.. Кольцо на пальце...

Толик осторожно подошел к женщине и тоже рассмотрел на ее руке колечко со знаками зодиака:

– Это она... она... О которой он пишет. Что же это, а?..

– Не знаю... Читаем дальше.

«Однажды меня и еще тысячу студентов отправили на помощь тем, кто выращивает хлеб, и мы оказались в далеком степном селе... А перед этим мы двое с лишним суток ехали на поезде, орали песни, терзали гитару, пили самое дешевое красное вино. А перед этим на вокзале я увидел ее... И влюбился навсегда.

Меня провожала в путь та самая девочка из Чимкента.

Марию тоже кто-то провожал.

Наши места оказались в одном купе, и я пел: «...к ненаглядным своим горам не пора ли нам возвращаться?» Она только изредка поглядывала на меня, занятая интересным разговором о квантовой механике или физике с третьекурсником какого-то механического или физического института, также посланного бороться за урожай. Третьекурсник был рослый, бородатый, красивый, и мои песни пропадали зря. Вечером, когда песенная атака достигла плотности артиллерийской подготовки, Мария попросила у третьекурсника сигарету и вышла из купе, он за ней. Гитара потеряла голос, когда стало понятно, что скоро эта парочка из тамбура не вернется. Я пытался прибавить громкости: «...и лотошник на углу продает апельсины цвета беж...», но Мария и физик явно меня не расслышали, а не поняли – это уж точно. Колеса стучали, за окном вагона пролетали синие огоньки, иногда в темноте вскрикивал неугомонный тепловоз, а ребята, набившиеся в наше купе, принялись разговаривать со мной как с тяжело раненым: «Ничего, старик, не унывай, старик, давай выпьем, старик!..» Я улыбался, выпивал, даже закусывал какими-то невероятно огромными зелеными помидорами, которые брызгали во все стороны огородной зеленью, но был я не в купе, нет, не в купе... А где же я был?..

– Сигареты есть? – спросил я у кого-то, и тут же ко мне протянулись руки с пачками, я взял одну и вышел в коридор, и двинулся дальше к тамбуру.

Вслед кто-то удивленно сказал:

– Так ведь он не курит...

Я открыл дверь в тамбур. Третьекурсник целовал Марию, она отвечала ему, закрыв глаза. Одна рука физика была где-то в вырезе халата Марии, вторая обнимала за талию.

– Вот вы где! – сказал я остроумно.

Они не прекратили целоваться, даже когда увидели меня. Третьекурсник просто повернулся ко мне спиной, загородил ее от меня.

Мне ничего не оставалось, как закурить. Это была моя первая сигарета в жизни. Даваясь дымом и кашлем, стоял я в тамбуре, где двое никак не могли разомкнуть объятий. Наконец, они разлепились.

– А, это ты..., – произнесла она. – Хорошо поешь. Твои песни?

– Нет, не мои...

– Я так и подумала, – сказала она и обернулась к физика: – Пойдем, Жора.

Я честно выкурил сигарету и не торопясь вернулся в купе. Марии с третьекурсником там не было. Я залез на верхнюю полку и укрылся одеялом с головой, колеса все тархтели и тархтели. Откуда-то пришла в голову шальная мысль, что вот начинается новая жизнь – с Марией... Почему так подумалось?.. Почему?

Утром оказалось, что физический институт выгрузился несколько часов назад на каком-то неведомом полустанке, наверное, там выросло особенно много хлеба. Мария спала на своей полке, на столике перед ней лежал букетик каких-то пыльных степных цветов.

Нашему университету предстояло еще сутки добираться до места назначения – так далеко теперь мы будем от бородатого третьекурсника! С надеждой опять звенела гитара, такое время тогда было – гитарное, без гитары, казалось, жизнь совсем скучная пойдет. В дальнейшем это подтвердилось...

– Вообще-то я и свои песни пишу..., – сказал я ей, когда она проснулась.

– Правда?.. Надеюсь, ты не с самого утра примешься их петь?..

– Не с самого...

– Не обижайся только... Я не со зла, просто голова тяжелая, вчера перегруз был. Люди хорошие попались, пришлось чуток злоупотребить за кампанию...

– Видел я вчера этих хороших людей, – сказал я.

Она посмотрела на меня внимательно, в глазах мелькнуло подобие усмешки.

– Понятно..., – протянула она, – понятно...

Неужели уже тогда ей все было понятно?

Вечером она попросила:

– Спой... Что-нибудь свое...

Я тронул струны:

– Не медь, не золото, не ржавчину принес октябрь..., – мне казалось, что про осень сказано еще не все.

– Ты – почти Фет, – улыбнулась она, но больше не перебивала.

Не помню, чтобы когда-нибудь потом она дослушивала до конца мои стихи. И не только мои. В ней было всегда очень много земного; рифмы почему-то пробуждали иронию. “Если ты добиваешься благосклонности дамы, то при чем здесь птички, ландыши и облака? – говорила она иногда. – Можно сказать об этом проще и яснее, разве не так?”

Вечером она позвала меня в тамбур.

– Смотри как интересно, – сказала она. – На всю степь одна лампочка...

За окном было черным-черно, и только в самом центре этой непроглядной темноты мерцал крошечный огонек, причем он не смещался, как будто поезд стоял на месте или двигался по кругу вокруг этой степной звездочки.

– Вот так всегда, – сказала она. – Мнится, как будто что-то есть в центре, и этот центр невольно притягивает. А может, там ничего нет? Пустота? Стоит какой-нибудь столб у заброшенного и разрушенного склада, а на столбе эта лампочка – неизвестно зачем и кому светит?.. А мы пялимся на нее, думаем, что кто-то живет здесь, растопил печь, варит еду, ждет кого-то... А на самом деле ничего... ничего нет...

Она и позднее жизнь воспринимала как несбывшееся ожидание.

– Ты ведь влюбился в меня? – спросила она.

– Да что ты! – растерялся я. – С чего ты взяла?..

– Не ври, ни к чему, – не поверила она. – Наверное, ты лучше всех вокруг на тысячу километров, на пятьсот во всяком случае...

– Так далеко мы, наверное, еще не отъехали, – вспомнил я третьекурсника.

Она не услышала:

– Но что мне делать с этим?.. Ты так и будешь всю жизнь рифмовать “луна-волна-не верна”... А гвозди кто забивать будет?

– Какие гвозди? – удивился я.

– Обыкновенные. Ржавые и не очень, на которые ты будешь вешать свои кепки, куртки и пиджаки, потому что хорошего шкафа для одежды у тебя долго не будет...

– Ты просто Кассандра...

– Да, к сожалению, – ответила она. И поцеловала меня в щеку. А потом в губы.

Нет, не пропали даром мои песни...

В селе, куда мы приехали, нас разместили в только что построенном доме. Временно было отложено новоселье, которого с нетерпением ожидали несколько сельских семей. Они всё время приходили посмотреть на свое будущее жилище, фантазировали, куда поставят сундуки и комоды, строго предупреждали нас “не свиничать, не писать на стенах матерщинных слов”.

Мария отвоевала отдельное помещение – кухню. Мы затащили туда два матраса, две подушки, одеяло нам досталось одно, да нам и не нужно было два. Мы и одним не пользовались – дни стояли теплые, солнечные, а ночью нам тоже не было зябко. На двери кухни какой-то остряк написал “Киргуду – королевство на двоих, остальным вход запрещен”, и мы с Марией поселились в этом королевстве. Запрет на вход никто не соблюдал, и по вечерам на этой кухне было тесно, и струны на гитаре рвались на самом интересном месте: “А если есть кто с тобою рядом, не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится...” А потом ребята уходили, уносили покалеченную гитару, а я целовал Марию; она откидывалась на подушку, но никогда не закрывала глаз, смотрела не то удивленно, не то настороженно, и тогда я целовал ее глаза, и она наконец закрывала их... Шептала при этом: “Люби крепко...” Этот шепот я не забыл... Но не могу вспомнить, чтобы она хоть когда-нибудь сказала мне “люблю тебя”. Но время от времени она говорила: “Ты думаешь, любовь без боли бывает?..” И непонятно было: уверена ли она в этом? Но иногда она добавляла: “Если без боли, то какая должна быть сумасшедшая анестезия!”»

– Тут просто исповедь какая-то, каждая секунда жизни, что ли, описана? – сказал Толик. – Но откуда все-таки взялась здесь эта рыжая?..

– Посмотри внимательнее, – предложил Малыгин, – ты ведь в одной квартире с ней жил. Похожа она на Марию?

– Какую? Гришаковскую?..

Толик уже менее опасно взглянул на склонившуюся над Ивановым женщину, отступил на шаг, прищурился:

– Нет, это не она... Та не такая была, ниже ростом, круглее... Да и старше намного. И лицо у той другое... Хотя, хотя... сходство есть...

– Ты обратил внимание, что у этой глаза открытые? – спросил художник.

– Ага... Он же пишет, что она глаза не закрывала... Читай, чего там дальше?..

«Мы вернулись в Алма-Ату в удивительный сентябрьский день. Утром в скверике около главпочтамта появилась желтая цистерна с пивом, и около нее тут же образовалась очередь томимых жаждой; было жарко и удивительно тихо, как перед землетрясением, на цветочном базарчике возле стен консерватории горели на солнце букеты роскошных георгинов. Землетрясения в этот день, слава Богу, не произошло, но вдруг пошел снег. Огромные белые хлопья внезапно сыпались весь город – еще цветущие клумбы, бьющие фонтаны, яблоневые сады. Лебедь, плавающий в бассейне кафе “Акку”, стал казаться слепленным из снега. Портвейн двенадцатый номер в кафе обрел еще большую свежесть, а снег все валил и валил. Из бара “Каламгер”, что свил себе гнездышко в Союзе писателей, вышли поэты и прозаики, даже некоторые драматурги, и удивленно смотрели на стихию, троллейбусы застыли у обочин, девушка в летних туфельках стояла на

остановке у “Детского мира”, прикрываясь газетой “Дружные ребята”, и какой-то мужчина предлагал ей свои огромные ботинки – и она, кажется, была готова принять его щедрый дар. Но тут вышло солнце. И снег на глазах стал исчезать. И девушка отказалась от ботинок, и писатели вернулись в бар, и троллейбусы, зябко подрожав корпусами, тронулись в путь... Через час как будто и не засыпало город огромными белыми хлопьями, и к вечеру метеорологический курьез забылся. Но мы с Марией почему-то надолго запомнили этот сентябрьский снегопад... Может она потом и позабыла, но я помню... В этот день, в этот вечер, в эту ночь мы пили шампанское, а потом коньяк, и опьянели, и беспрерывно целовались – в кафе, на улице, в подземном переходе, и надо было идти домой, в крошечную комнатку, которую мы сняли на Малой Станице – там целоваться было удобнее, но мы не торопились, сидели в холодном сквере у Дома правительства – и целовались в двух шагах от хмурых охранников. Потом всё-таки мы отправились домой, и Мария достала из чемодана бумажку с надписью “Киргуду – королевство на двоих” и прикрепила ее на стене, и мы стали жить в этой комнате...

Иногда наваливается странная слабость; не слабость-болезнь, а слабость-усталость... И опять снилась она. Может быть, мы теперь нерасторжимы с ней?

...На левом колене у нее был едва заметный шрамик, но я рассмотрел его. “На байдарке перевернулась во время похода по Сакмаре”, – рассказала она, и так я узнал, что она была на сплаве в Южном Урале; там шли тем летом затяжные дожди, речки вспухли, кипели водоворотами, стремительно несущаяся вода почернела, как будто впитала в себя весь страх, притаившийся в непролазных лесах и осыпающихся ярах этих мест, впору было отказаться от сплава, но ребята в команде подобрались серьезные, не привыкшие отказываться от задуманного, и они пошли. И на первом же пороге у большого серого камня она перевернулась. “Спасибо Сереге, спас, – сказала Мария. – Если бы не он... А так только колено разбила...” Так я узнал и о Сереге, который не дал ей утонуть, а потом нес ее на руках в сельский медпункт, и потом вернулся с ней в город, оставив команду – так дорога она ему была. Но они расстались... Любовь не бывает без боли?..

В последние дни у меня в глазах словно двоится, фокус не наводится. Особенно на расстоянии свыше метра. Но на бумаге буквы не двоятся. Наверное, что-то со зрением. Сегодня впервые не стал готовить горячую еду, обошелся килькой в томате...»

– Вот где он нашел свою Шамбалу, – сказал художник, оторвавшись от тетради.

– Здесь что ли, в комнатухе этой? – спросил Толик.

– Можно, наверное, и так сказать, – ответил Малыгин. – В этой комнате, в этой женщине...

– Так откуда она взялась?

– Думаю, что... Нет, давай читать дальше.

«Сегодня обошелся скумбрией в масле, хорошая всё-таки еда: даже голодный из осажденной крепости не съест за один присест больше половины содержимого банки. Наверное, ученые специально разрабатывали вкус этого продукта, чтобы его нельзя было много съесть. И вместе с тем, чтобы создавался эффект насыщения. Вот я совершенно не голоден... Мария говорит, что нужно больше есть, но я посмотрел – она и сама ничего не ест... Странно... Прежде она очень любила жареную утку. Иногда мы в “Центральном гастрономе” – ЦеГе – покупали утку, и Мария жарила ее целиком. К утке я покупал бутылку портвейна, собственно в

магазинах Алма-Аты тогда ничего другого не было – вино и замороженные утки. Ах, да, еще пакетики с лавровым листом, которые продавцы настойчиво рекомендовали в “нагрузку” к уткам. Мы покупали и эти пакетики, Мария смеялась: «Если так дело пойдет, то скоро соберем на лавровый венок!» Но денег у нас часто не было совсем, поэтому мы так и не собрали на венок.

Время от времени Мария ходила занимать деньги к какой-то своей дальней родственнице, которая часто – уж не помню по какой надобности – бывала в Венеции. Деньги – пять, а то и десять рублей – она почти всегда давала, но при этом нужно было смотреть альбомы с венецианскими фотографиями, на которых была сама Венеция, а на ее фоне родственница. Обычно я ждал Марию на скамеечке неподалеку от кинотеатра “Алатау”, потому что когда мы приходили вдвоем, то к фотографиям прибавлялись воспоминания о каналах, карнавалах и гондольерах.

Заняв деньги, мы мчались к ЦеГе – утка, портвейн и лаврушка, Мария хотела и говорила: “У меня была хорошая фигура, но есть риск, что она станет идеальной в день моей голодной смерти”. И еще она тогда шутила, что в жизни, как в космической орбите, есть апогей и перигей. Перигей – это совсем невысокий полет, и важно не пропустить, когда начнется апогей... Она смеялась: “Надо вырваться из притяжения земли...” “Как же совсем без земли?” – спрашивал я, а она только махала рукой.

В то время я намеревался приняться за большой исповедальный роман о молодежи, по сути дела, весь роман – его герои, коллизии, фабула – был у меня в голове. Нужно было просто сесть и записать его на бумагу. Иначе говоря, требовалась чисто механическая работа, потому что творческая была завершена в голове. Название роману я придумал вполне в духе времени – “Октябрьская канонада”. Первая строчка задавала настроение всей вещи: “Я живу осенью, я прописан в осенней стране...” Несколько раз я принимался за работу. Ломались карандаши, из ручки вытекали чернила и заливали бумагу, сосед за стеной включал электродрель, едва я садился за стол, и дальше первой строчки не шло. Не сразу я понял, что совершенно не подхожу для механической работы. Мария предложила, чтобы я диктовал ей, но я отказался. Она и так сильно уставала, тем более что устроилась ночным сторожем в детском садике через дорогу... У нее даже было ружье с одним патроном. Я иногда приходил к ней ночью, и мы занимались любовью на диване в директорском кабинете, повесив ружье на вешалку. Однажды ружье упало и выстрелило, и заряд попал в плащ, оставленный на вешалке директором. Мне пришлось уносить ноги, потому что посторонним на охраняемый объект вход был строжайше запрещен. Приехала милиция, и Марию заставили писать объяснительную, а потом обязали выплатить директору за нанесенный ущерб...

...Мария прочитала до этого места и рассмеялась, так много я напутал. Во-первых, не плащ, а пальто было поражено той давней ночью, во-вторых, любовью мы занимались не только на директорском диване, но и в спортивном зале, где на полу лежали гимнастические маты... Где только не любили мы друг друга!.. Однажды...»

– Он пишет, что Мария читает его писанину, а откуда она появилась здесь, эта Мария? – в очередной раз спросил Толик.

– Да, странно, – согласился Малыгин.

Он поднял с пола еще несколько тетрадок, полистал:

«...чувствую себя неплохо, только со зрением что-то непонятное происходит; хорошо, что Мария здесь... В Алма-Ате мы снимали углы в чужих квартирах, жили за занавесками, ширмами, однажды хозяйка, пустившая нас пожить в большом доме в Тастаке, предложила нам спать на огромной русской печке. На этой печке мы прожили недели две. Мария хохотала: “Илья-Муромец и Баба Яга – странная парочка на печке...” Мне казалось, что она любила меня. Во всяком случае, во время наших полетов на печи... Денег не было даже заплатить за это обиталище, и пришлось перебираться в другое жилье. Потом мы жили в полуподвале старинного дома, из крошечного и мутного оконца которого была видна только обувь проходящих мимо людей, и мы по обуви, даже самой поступи, учились угадывать характеры прохожих, как они выглядят. Для того чтобы убедиться в правильности наших предположений, мы иногда выбегали на улицу по осклизлым ступенькам каменной лестницы. Это развлекало нас, тем более что угадывали мы часто, и чем дальше, тем больше. Мы научились – не могу объяснить по каким признакам – почти не ошибаться. Появлялись перед оконцем светлые туфельки-“лодочки”, и я говорил: “Студентка, двадцать лет...” Мария добавляла: “Цветастая поплиновая юбочка, трикотажный свитерок...” Я продолжал: “Марина, очки...” Мария хохотала: “Короткая стрижка, шатенка...” Сломая голову я мчался наверх по лестнице, догонял “туфельки” и убеждался, что мы не ошиблись. Иной раз, под разными дурацкими поводами, я выпрашивал имена прохожих, выведывал их занятия, и почти никогда мы не ошибались. Однажды мимо оконца проследовали черные остроносые туфли с металлическими набойками. “Борис, замдиректора, тридцать четыре года, брюнет...” Я подхватил: “Пижон, бабник, кандидат наук, обручальное кольцо...” Мы как будто не угадывали, а заказывали... Она выбежала убедиться, что в очередной раз мы не промахнулись, и пропала больше чем на месяц. Впрочем, часа через два позвонила хозяину дома, просила передать мне, что задерживается, скоро приедет и всё объяснит, но еще через два часа опять позвонила хозяину, и он, злой как барсук (вовремя не платят, еще и звонят бесконечно), притащился из своего надземелья и хмуро сообщил, что она умоляет не беспокоиться, что всё нормально – утром она будет “в нашем смешном полуподвале”, не нужно думать ничего худого. Утром она не появилась, и следующим утром тоже... Ничего худого я не думал, я знал, что она жива и здорова, и даже весела, и что любви без боли не бывает. Я ждал, когда ее сапожки прошагают перед оконцем: “Мария, двадцать четыре, рыжеволосая...” В тот год хорошо писалось, я закончил несколько осенних рассказов, как мне показалось – неплохих. Октябрьская грусть удавалась мне всегда, теперь – особенно. Я думал: “Мария, ну почему всё так выходит?” и писал: “Мария везде, где осень, а осень повсюду... Не бывает Марии без боли...”

Когда ей исполнилось двадцать пять, она вернулась в полуподвал.

Сказала:

– Это я...

– Здравствуй, – поздоровался я.

– Прости... так вышло...

– Да...

– Мир?.. Точно?..

Она выглядела растерянной, удрученной. Может быть, потому, что не получилось вырваться из притяжения земли?

У нее нашлось пять рублей, и я сбежал в ЦеГе за уткой, портвейном и лаврушкой.

Выпили, и она сказала:

– Мы с тобой тогда угадали, на самом деле кандидат наук, пижон и обручальное кольцо... И он – Борис...

– А то что брюнет – угадали?..

– Нет, – ответила она. – Обещай, что больше никогда не спросишь меня о нем...

И не попрекнешь... Иначе смысла оставаться здесь у меня нет...

Она осталась, повторила давние свои слова:

– Наверное, ты и на самом деле самый лучший вокруг на тысячу километров...

– Неужели брюнет так теперь далеко? – не удержался я.

Она нахмурилась, и больше никогда об этом мы не говорили. Бывает ли без боли молчание?

Из полуподвала мы переехали на чердак дома, стоявшего в черешневом саду. Говорят, что по весне там бывало чудесно – люди вообще любят, когда цветут сады, летают бабочки и гудят шмели, но осенью среди голых деревьев было особенно грустно; крошечный холодный ручеек петлял среди стволов и как будто распределял опавшие листья по всей территории сада; Мария иногда гуляла по саду, перепрыгивала через ручеек, но я видел – она тосковала по весне. Она не любила осень. Поэтому мы опять перебрались на новое место.

Когда в очередной раз мы собирали свои пожитки, она сказала: “Я поняла, почему происходит это постоянное кочевье. Ты – потомок Чингиз-хана. У тебя ведь в роду были татары, были? Ты наследник номадов, в тебе есть неистребимый кочевой ген. Тебе, в общем-то, не нужен дом, ты будешь вечно бездомным...” Она ошиблась, дом для меня нашелся... И для нее тоже... Так реально, как сегодня, она мне не снилась никогда...»

– Кажется, я понимаю, что произошло, – сказал художник. – В это невозможно поверить... Вот читай дальше:

«Это просто наваждение. Я думаю только о ней, я пишу о ней, она снится мне каждую ночь... Я готов не просыпаться, чтобы оставаться с ней... пусть этот сон длится...»

– Это его сон, понимаешь? – отложил тетрадки Малыгин.

– Нет! Не понимаю! – мотнул головой Толик.

– Мы попали в сон Иванова, – продолжил Малыгин. – Влезли с тобой в самую сердцевину сновидения. Уж не знаю, каким образом материализовалось то, что ему снилось... С такой силой он представлял себе свою Марию, что она уже не могла больше покинуть его... То, что мы видим сейчас – застывший сон... В этой комнатухе сконцентрировались все мечты Иванова, все его сны, и достигли критической массы...

Толик почесал затылок:

– Если это сон... Постой-ка...

Он подошел к женщине и прикоснулся к ней рукой. Рука не встретила сопротивления и как бы растворилась в рыжих волосах. И в то же мгновение очертания Марии на секунду потеряли резкость и яркость.

Толик отдернул руку:

– Ничего там нет, только как будто теплота какая-то...

– Еще какая теплота, – сказал художник. – Очень большая теплота...

– Но если мы видим его сон, – наконец завершил свою мысль Толик, – то где же он сейчас сам?..

– Кто же это может знать, кто? – ответил Малыгин. – Но надеюсь, что ему там хорошо...

Они выбрались из комнатки и принялись замуровывать стену.

А старую картину Малыгина они повесили на место.

БЛЭК ЭНД ГОЛД (Черное и золотое)

Николай пришел в магазин и прочитал вслух по бумажке:

– Есть ли у вас в продаже сверлильная машина, в которой используется электромагнитный или пневматический принцип формирования удара?

Продавщица за прилавком даже не пошевелилась. Устала за день вертеться.

Эту бумажку он вырвал из какой-то строительной книги, прочитал как будто правильно. Так и есть: «Сверлильная машина...»

Он кашлянул, потом еще раз погромче, чтобы привлечь внимание уставшей продавщицы, и продолжил читать, на всякий случай по слогам:

– Ма-ши-на эта на-зы-ва-ет-ся пер-фо-ра-тор... Перфоратором называется.

– По мне хоть сепаратором, – наконец заметила Николая продавщица. – Хотя самым кухонным комбайном называй, хоть посудомоечной машиной. Мне – по барабану! До лампочки! До лампы!..

Николай удивился грубости продавщицы, но продолжил, по бумажке:

– Действие перфоратора схоже с дрелью...

Продавщица потеряла терпение:

– Что ты мне лепишь, дядя! – закричала она. – У нас галантерейный магазин! Понимаешь, галантерейный!..

Николай непонимающе смотрел на нее.

– Пуговицы тебе нужны, дядя? – чуть успокоившись, спросила она. – Могу предложить сто пятнадцать разновидностей и восемнадцать цветов... Перламутровые нужны? Вот перламутровые. Цвета морских огурцов нужны? Вот они, огурцы... А дрели и сверла продаются в специальных магазинах для строительных инструментов, ты что, не знаешь этого? Дядя!..

– Вообще-то знаю, – сказал немного огорченный Николай.

– Вот-вот, – совсем уже мирно произнесла продавщица. – В соседний магазин тоже не ходи, там – парфюмерия. Духи тебе нужны? Или ты только одеколон тройной употребляешь?

Николай попытался ей объяснить:

– Я думал, что существует корпоративное торговое братство... Одни торгуют перфораторами, другие – губной помадой, но по большому счету они заняты одним делом и им не может быть «до лампы», когда приходит потенциальный покупатель... Разве я не прав?

Продавщица от возмущения потеряла дар речи.

– Вот если бы я обратился по своему вопросу в баню или, скажем, цирк, то это могло вызвать улыбку, – продолжил он. – Но если разобраться, то ничего комичного я не вижу в том, когда один человек помогает другому...

И он вышел из магазина, направился на рынок, где, вспомнилось ему, он видел когда-то магазин «Для новоселов», а в нем всяческие снаряды, как для разрушения стен, так и для их возведения.

Ему не требовалось пока ничего возводить, но разрушить кое-что он намеревался. В одной книжке он вычитал, что некий чужак, писатель-неудачник, замуровал себя в потайной комнате. Опостылела ему действительность, надоели соседи, – и он ничего лучшего не придумал, как запастись консервами, макаронами и подсолнечным маслом, чернилами с бумагой и замуровать себя навек.

В книжке была такая деталь, она показалась важной: в городе, в котором все это происходило, круглый год шли дожди, иногда пополам со снегом, всегда было сумрачно, да вдобавок ко всему часто отключалось электричество. Так и говорили: отключилось электричество! Как будто оно обладало такой таинственной способностью – выключаться само по себе, по своему собственному желанию. А вот чтобы включить его, требовались монтеры, которые всегда находились на экстренном вызове, и приходилось ждать их в темноте неделями. Однажды электричества не было полгода; в этом мраке развелись пауки, мохнатые, беспощадные, а также больше стало крыс.

Так вот, в потайной комнате, которую случайно у себя за стеной обнаружил чужак, всегда светило солнце – через крошечное окошко под потолком. Конечно, по законам природы так быть не могло: если во всем городе промозглый дождь и тучи почти лежат на крышах, то откуда возьмется солнце в потайной комнате? Откуда? Наверное, это какая-то писательская аллегория, метафора или просто неумная придумка затосковавшего сочинителя, но Николай поверил, что так и было.

– На каждой дождливой планете (а Земля представлялась ему именно такой) есть солнечные уголки, есть теплые края... Я в какой-то газете вычитал, что есть края, в которых солнечных дней в году больше, чем всех остальных. Больше остальных дней!

Всё это говорил он сам себе, потому что разговаривать ему было совершенно не с кем, и он легко убеждал своего собеседника в чем угодно.

Так вот, он во что бы то не стало захотел найти эту потайную комнату, по его подсчетам замурававшему себя чужаку продуктов должно хватить лет на двадцать, а чернил и бумаги – на сто тридцать пять лет, а прошло с момента, когда Иванов (замурававшийся) спрятался от мира, лет пятнадцать.

– Представляю, сколько он там книг написал, – разговаривал Николай сам с собой. – Они непременно должны пополнить собой сокровищницу мировой литературы. Я берусь уговорить этого нашего великого современника-затворника покинуть хотя бы на время место его добровольного заточения, чтобы мы все получили возможность ознакомиться с его выдающимися произведениями...

И он принялся искать. Сначала позвонил по телефону писателю, который сочинил этот рассказ, но тот ничего внятного сказать не смог, потому что у него как раз случился вечер встречи с портвейном. Седьмой или восьмой вечер. Подряд.

– Кого вам надо? – кричал в трубку писатель. – Вы ошиблись. Это не я был... Честное слово, я в запое пятый день, и из дома выхожу только в киоск... Условно говоря выхожу... выползаю...

Поняв, что от автора в ближайшие дни ничего не добьешься, Николай принялся изучать само произведение, считается, что это много может дать для расшифровки личности автора, его творческой жизни. В рассказе было написано:

«...в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед с деревянным скрипучим полом был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена – тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется, в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может, от тоски, – следы пуль были заметны и теперь».

Кое-что понятно: скрипучий пол, следы пуль на потолке. Но мало ли у нас помещений со следами пуль на штукатурке?.. Николай на всякий случай взглянул на потолок своей комнаты. Ну точно: следы от пуль складывались в народное слово «блядь!»

«Хорошо стреляют, собаки! – позавидовал он метким стрелкам. – Они вполне могут настрелять хоть “Три богатыря”, хоть “Завтрак на траве”, если им дать волю патронов. Только когда у нас патронов хватает?»

Николай стал методично обходить старинные дома, в современных не было потолков выше трех метров, да и вряд ли в этих домах с их ясной младенческой архитектурой можно скрыть хоть самую крошечную потайную комнату. Да и указано было в рассказе, что дело происходило в «старинной квартире», если только у писателя в то время не случилась неделя дружбы с настойками и наливками.

Он смело входил в дома с колоннами, не смущали его ни старинные пилястры, ни лепнина фризов, оставленные предками, боровшимися не только за социальные вольности, но и за красоту. Он поднимался по парадным лестницам, боясь запутаться в паутине бельевых веревок, обходя подвешенные на стенах велосипеды со спущенными шинами, жестяные оцинкованные ушаты, схороненные в темных углах до лучших времен ламповые радиоприемники «Родина», пружинные патефоны и стопочки тяжелых пластинок, выпущенных фирмой «Мелодия»: «Огонек», «Мишка», «Рио-Рита», «Ту-Степ», «Марина» и «Пичирильо».

Кого только не встречал он в этих коридорах. Однажды вышел на старика, дремавшего в плетеном кресле с небольшой книжкой в руках. На старике была защитного цвета гимнастёрка и уланские рейтузы, офицерские кавалерийские сапоги. Рядом со стариком, на втором кресле, лежали револьвер и шашка. В коридоре было почти темно, но Николай сумел заметить, что на плечах старика не было ни погон, ни эполет. На рукаве белела повязка. Несмотря на отсутствие знаков различия, старик походил на генерала.

– Здравствуйте! – ошарашенно сказал Николай и неожиданно для самого себя отдал старику честь.

Тот кивнул в ответ, спросил:

– Ищешь чего? Или кого?..

– Да, ищу. Комнату ищу потайную...

– Да тут что ни комната, то тайна.

– В ней еще писатель жил, которого жена бросила...

– Эх, милоч! – вздохнул генерал.

– У него в комнате была интересная картина, – не унимался Николай, – на ней желтая равнина и след от ноги человека...

– Человека? – уточнил генерал. – Нет, такой картины не видел...

– Извините, что побеспокоил, – сказал Николай.

И вдруг, сам не зная почему, спросил:

– А вас не Владимиром Оскаровичем зовут?

– Эх, милоч! – опять вздохнул старик. – Кто сейчас держит в памяти имена?

Да и нужны ли они? Я в этом не уверен... А ты вот эту книжку читал?

И он показал книжку, на обложке которой было напечатано: «Чапаев».

– Нет, – честно признался Николай. – Я кино смотрел... раза три... а книгу не читал...

В другой раз во дворе старинного трехэтажного дома с колоннами он услышал, как кто-то окликнул женщину:

– Мария!

Женщина вывешивала на веревки сиреневое белье, и он уставился на нее, да так, что она вспыхнула, отвернулась. Потом спросила:

– Чего глазенки выкатил? Мокрых лифчиков не видел?..

– Не знаю... видел, кажется... А вы не знаете, в этом доме проживает Иванов? Писатель?.. У него в комнате картина странная висит – вся желтая... От него еще жена ушла – к Гришаку... Это не вы будете?.. Я слышал, вас Марией зовут. У Иванова тоже жена была Мария...

– У меня, правда, три мужа было, – сказала Мария, – но Господь миловал – все три нормальные, не писатели.

– Извините, – сказал Николай. – Оказывается, нелегко найти человека...

И он двинулся дальше. Но тут она его окликнула:

– Пойдите, пойдите...

Он вернулся.

– Кажется, я знаю этого Гришака. Он мастер золотые руки, да?

– Кажется, – вспоминал Николай рассказ.

– Он и уют починить может, и самолет. За таким баба как за каменной стеной, – сказала она.

– Точно! – поддакнул Николай.

– Из того старинного дома Гришаки давно съехали, получили отдельную благоустроенную квартиру... Одно время я тоже жила в этом новом доме, этажом выше. Так что иногда мне приходилось слышать, как плакала Мария, негромко, но безутешно...

– Отчего она плакала?..

– Кто же знает, она мне ничего не рассказывала... Люди болтали, что ее муж бесследно исчез, и она винит себя в этом. Правда, другие говорили, что она о своем писателе ни разу и не вспомнила, а плакала оттого, что этот мастерской – Гришак – поколачивал ее...

– А вы случайно не знаете, где находится тот старый дом, в котором они все вместе жили?

Она взглянула на него пристально, решаясь – можно ли доверить ему это. Потом сказала, понизив голос, как будто вручая немислимую тайну:

– Есть такой город. Наверное, где-то на западе...

И замолчала надолго. Николай решил, что это и вся ее тайна, но вдруг она продолжила:

– Уже на вокзале ты понимаешь почему-то, что это именно тот самый, нужный тебе, город. Там еще на перроне забегаловка есть, «Голубой Дунай» называется, и мост есть переходной через железнодорожные пути...

– На каком вокзале нет «Голубого Дуная?» – был поражен Николай услышанным. Просто исчерпывающие сведения!

И спросил у женщины:

– А вы откуда знаете про перрон и все такое? Про забегаловку?..

– Сам же говорил: на каком вокзале нет забегаловок?

– Пойдите, пойдите... – сказал Николай вглядываясь в женщину. – Так вас Марией зовут?

– И мою мать Марией зовут, и еще сорок баб, проживающих только в этом коридоре, – ответила она. – И кто из нас нутром не чует беду, не ведется на призрак любви, не мечтает о счастье? Поэтому и «Голубой Дунай» как родной; кажется, что там хоть кого-то поблазнило другой жизнью, в которой солнце – не только для сушки белья.

– Извините! – сказал Николай и продолжил свои хождения по коридорам и лестницам, чувствуя, что круг поиска неумолимо сужается.

И однажды он сел на поезд и поехал на запад. Но потом поезд повернул на север, а потом – на восток, так что точно сказать, куда же он поехал, невозможно. Железная дорога сцепила чугунными рельсами все города, все местности, притянула их друг к другу; если до какого-нибудь Сихоте Алина прежде путник тащился два года, питаясь в пути олениной и лососями, то теперь он рискует совсем пропасть в паутине полустанков, разъездов и никогда не найти свой поворот. Многие так и не нашли, не сделали нужной пересадки, и уже не первый век маются на жесткой плацкарте, с тоской прислушиваясь к объявлениям сонных проводников: «Граждане и гражданочки, поезд идет с опозданием на шашнадцать часов, платформа справа».

Николай не стал рисковать и вышел на первой попавшейся станции, спросив на перроне: «У вас “Голубой Дунай” есть?»

Ему ответили:

«Никакого “Дуная” у нас нет, его давно переименовали в “Кафе национальных блюд”».

Он толкнул скрипящую дощатую дверь и вдохнул забытый запах привокзальной чайханы. Прокисшее пиво, тухлая селедка, пригоревшее еще до революции масло, пережаренный лук, густой запах мочи точнее всяких часов показывали, что на дворе ночь и вот-вот шалман прикроется до утра. Но стакан портвейна под соленый огурец еще можно успеть выпить, и поговорить с хорошими людьми. Николай и спросил портвейна. Стакан.

– На разлив вино не отпускаем, – на всякий случай соврала официантка, и у нее прокатило: он заказал всю бутылку.

Тут же к нему подошел дремучий, заросший бородой, как леший, человек, никогда не чесанный, давно не мытый.

– Здорово! – сказал он. – Тут слух прокатился, что ты ищешь желтую картину?

Николай пожал плечами. Никому в этом городе он о желтой картине не говорил.

– Картина знаменитая, – продолжил между тем леший. – Сам Малыгин написал, а он художник знатный!..

– Знаю, знаю, что сам Малыгин, – для чего-то поддакнул Николай, – иначе бы не интересовался... Мы в искусстве тоже кое-чего понимаем.

– Вы? – заглянул за спину Николаю бородатый.

– Ну, в смысле – я, – смешался тот.

– Конечно, конечно! – широко улыбнулся незнакомец, хотя трудно было понять – широко он улыбнулся или не очень широко – бородища все закрывала. – Выпивать-то будем?

– Будем, – не отказал Николай страждущему.

Они быстро распили бутылку. Да и чего там пить-то – пол-литра ароматной жидкости, которая просто сама просилась в рот, а оттуда в желудок, а уже оттуда прямо в мозги.

– Я смотрю, ты знаток живописи, товарищ! – сказал нечесаный. – У тебя просто серебряный глаз, тебе бы в международные эксперты податься, говорят, они большие бабки имеют через эту работу.

– Это, конечно, можно, – не стал отбиваться Николай. – Деньги мне нужны.

– А уж как они, проклятые, нужны мне – словами не передать, – поделился сокровенным бородатый.

Подошла официантка, спросила:

– Заказывать еще чего будете или просто так место занимаете?

– У вас, наверное, наценка большая? – поинтересовался Николай.

– Так ты в ресторан приперся! – сказала официантка. – Не в забегаловку.

Скатерть вам постелена крахмальная, бокалы хрустальные поданы. А вам халяву подавай! Да?

– Придется чего-нибудь заказать, – разъярил бородатый, – иначе попрут. У тебя деньги-то есть?

Николай покопался в карманах, набрал еще на бутылку. Его новый товарищ добавил несколько монеток, правда, часть из них забрал назад – на автобус.

Вторая бутылка закончилась быстрее первой. Николай давно подметил эту странность. Что-то неведомое таило в себе вино, ведь с молоком, например, ничего подобного не происходило. Даже наоборот: чем больше его, молока, пьешь, тем меньше его хочется. А портфейным напиток невозможно, вермутом – тоже. А вот розовое игристое иногда не лезет, фыркает назад, особенно когда употреблишь его из горла.

Третья бутылка закончилась, кажется, еще до того, как ее принесла официантка.

И тут Николая осенило, и он прямо спросил у нового друга:

– А ты сам, случаем, не из художников? Уж очень у тебя борода художественная, я сказал бы – сюрреалистическая.

Собутыльник загадочно улыбнулся: приятно, когда тебя узнают встречные-поперечные. А уж знатоки – само собой знают...

– А фамилия твое какое будет? – продолжил допрос Николай. За три бутылки портфейного он вполне имел на это право. – Не сам товарищ Малыгин случаем?

Малыгин не стал скрывать, что он Малыгин. Да и трудно было скрыть это, талант светился в его глазах.

– Да, я и есть Малыгин. Тот самый.

Но чтобы в этом не осталось у собеседника никаких сомнений, он показал удостоверение члена садового товарищества «Мир искусства» и добавил:

– Мои работы есть в запасниках лучших музеев мира, в первую очередь в музее «Старый Уралск»...

– Рад, очень рад нашему знакомству, – сказал Николай.

– Я тоже рад, – ответил знаменитый художник, – но картину я не продаю, а если честно – ее у меня на руках нет...

– Где же она?

– Да там же и осталась, в том проклятом доме...

– Значит, вы знаете, что Иванов там себя заточил?..

– Знаю... Но сразу скажу, я туда даже за ящик портфейного не пойду.

– Что, так страшно?

– Даже страшнее – непонятно.

– Да, непонятное – страшнее всего, – начал Николай. – У нас лет десять назад случай был, а, может быть, все двадцать годков уже пролетели...

– Время летит, – согласился Малыгин.

– Время стоит на месте, оно давно остановилось, это мы иногда проносимся мимо него, – сказал Николай. – Случай, о котором хочу рассказать, как раз и связан с замерзшими временами...

– Ну?..

– Есть места, где почти незаметно, что время замерзло. Нужно хорошенько приглядеться, чтобы понять это. Или увидеть внезапно то, что видел полвека назад, или встретиться с человеком, про которого давно забыл, а оказывается, ты ему десятку должен, и он это прекрасно помнит, и ждет, когда ты вернешь денежку эту, ведь на неделю брал, а прошло сколько? В других местах наоборот: настолько замерзло все, что часы почти не идут, а кое-где даже вспять стрелки крутятся – там лед времен очень прочный... Однажды хороший мой приятель – Шуриком его зовут – отправился на рыбалку. Только что лед на пруду стал, еще опасный, хрусткий, как оконное стекло. Снег еще не выпал. День солнечный, морозный – рыбакам раздолье, кто на уду ловит, а кто деревянной колотушкой бьет прямо через это ледяное стекло, оглушает рыбу, приметную через перволед.

Шурик же поставил жерлицы, до десятка. Живцы у него бойкие, не покупные – сам ловил карасиков, а они, шельмецы, живучие, на них что голавль, что щука – дуром прут. Из первой же лунки выхватил приличную щуку, килограмма три будет. Такая светлая, молодая щука. Но присмотрелся к ней рыбак и прифигел. На плавнике у рыбы медное кольцо, а на кольце год выбит, в котором окольцована была хищница – 1448.

– Такая старая была щука? – перебил рассказчика Малыгин.

Николай выдержал паузу и продолжил:

– Не такая уж старая...

И тогда Шурик вспомнил, что где-то он уже читал про окольцованную щуку. Точно, в книге знаменитого ихтиолога Леонида Сабанеева! Он еле дождался конца рыбалки. Он был в тот день единственным в мире рыбаком, который торопил время. Щуку, конечно, он отпустил в пруд.

Дома он сразу взялся за книгу – «Рыбы России». И буквально через пять минут нашел искомую строчку: «...в 1610 году была поймана... огромная щука с медным кольцом, на котором был обозначен 1448 год».

– Так мне попалась та же самая щука! Судя по всему, так оно и есть, – размышлял Шурик. – Если это так, то ей должно быть не менее пятисот шестидесяти лет, да еще нужно учитывать, что окольцевали ее не шуренком.

– Постой, постой! – поразился он. – Мне-то ведь попалась никак не вековая рыбина. В чем же дело?

И вдруг его осенило: в том месте, где он рыбачил, время как раз сковано морозом, и там идет 1448 год?

Тогда он поехал на этот пруд опять. Взял с собой отрывной календарь, фотоаппарат, хронометр и даже барометр.

Снимки получились отличные: на них хорошо вышла плотина пруда и сам Шурик со своим научным оборудованием. Он потом рассказывал, что стрелки хронометра сразу пошли в обратную сторону, причем крутились с такой скоростью, что их не было заметно. А барометр стал показывать ясную погоду, тридцать с плюсом по Цельсию, хотя валил снег и было двадцать пять мороза. Жуть, просто жуть! В общем, Шурик практически доказал существование замороженного времени. И клевало там всегда хорошо – прежние времена они и есть прежние времена – всё в них было лучше, чем теперь. Но на этом пруду люди долго не сидели, даже если клев хороший был – жуть охватывала рыбаков и путников, которые случались иногда в этих краях.

– Чистая правда! – подтвердил Малыгин. – Раньше было лучше, даже голова с похмелья не болела...

И добавил:

– Ты что, намекаешь, что Иванов замерз в этих самых льдах времен? Скажу тебе еще раз, пока мы не пьяные – где бы он ни замерз, где бы ни заледенел, я всё равно туда не ногой.

– Я сам пойду... Говори адрес, не тяни...

Сказав адрес, художник растворился в пространствах «Голубого Дуная». Больше его никто и никогда не видел. Пропал великий живописец.

Николай быстро нашел дом. Он стоял, окруженный забором, приготовленный к сносу – пустой, холодный и темный. Разбитые стекла хрустели под ногами, как снег в морозный день, двери и рамы хлопали на ветру, старая бурая дранка выпирала из потолков и стен, как поломанные ребра. Хотя дом был еще крепкий и простоял бы еще век-другой, его решили убрать. Уж очень несовременная была архитектура с разными излишествами: колонны, парадный вход, крыльцо с затейливой чугунной решеткой. Все это раздражало отцов города. Они бились над современным обликом города, строили стеклянные дома с примесью стали и бериллия. А эти вековые строения, серые, бурые, с облупившейся штукатуркой, с надписями густого эротического содержания прилепились к новым улицам и проспектам как грибы-паразиты.

И вообще здесь была такая мода – ломать мрачные старинные дома, а на их местах подолгу ничего не строить, пусть будет больше простора и света. Ну а когда горожане свыкнутся с пустотой, полюбят ее, власти внезапно могли поставить здесь жилую крупнопанельную коробку на пятьсот квартир – из очень прочного серого пористого бетона с металлическим каркасом внутри – изобретателю этого бетона собирались дать Нобелевскую премию, но почему-то не дали. Этот дом был рассчитан на полторы тысячи лет, а после капитального ремонта он мог простоять еще семьсот пятьдесят лет. Таких домов возникло множество на пустырях, где когда-то стояли дома с колоннами, и люди не помнили, что тут было раньше, говорили:

– Страшная какая коробка, как будто в серой шинели стоит... Но это все-таки лучше, чем был здесь пустырь и на нем стая бездомных собак людям проходу не давала.

Так вот, дом этот с желтой картиной и писателем Ивановым, замуравившим себя в тайной комнате, был как раз в той стадии, когда во дворе завелись бездом-

ные собаки. Да не одна стая, а две. В одну сбились огромные мохнатые собаки, в другую – небольшие псы. Они непримиримо враждовали, их обоюдная ненависть была больше собачьей, наверное, – волчьей, или еще больше, еще ненавистнее. Чуть стоило зазеваться собаке из первой стаи, как мелкие собаки напали на нее, и пощады от них не было, лютой ненавистью пылали глаза нападавших. Но если мохнатым гигантам попадалась мелкая собака, то они просто разрывали ее на куски.

Но всё-таки наибольшая злоба была у них на людей. Сколько народу пропало в доме, во дворе – никто не считал, может, кто-то и был растерзан злобными собачьими стаями?

Поговаривали, что в доме завелась и страшная шайка бандитов, которая не брезгует никакой добычей. Попадется ей мосластая городская курица – шайка хват ее – и в котел, попадется беззащитный коммерческий банк – тотчас налет, со стрельбой в потолок, с черными чулками на скуластых мордах, с матом-перематом. Кстати, насчет черных чулок. Их в шайке было много, потому что бандиты были бандитками; все красавицы как на подбор: с крепкими грудями, тонкими, просто ивовыми, талиями, точеными ножками. И все эти бедовые девчата имели разряды по стрельбе, побеждали на городской и даже областной спартакиадах. В народе шел слух, что в шайку пошло разорившееся модельное агентство, потому и название шайки было такое – «Жадо». Правда, никто не знал, что это такое, поэтому чаще говорили:

– Это наши жабы почтовый поезд ограбили! Представляете, в составе поезда ездил потерявшийся в четырнадцатом году почтовый вагон с рождественскими поздравительными открытками и подарками! Уж как только его обнаружили? Вот кто-то обрадовался, когда спустя век получил поздравление или плитку окаменевшего шоколада!..

Короче говоря, опасно было на этой территории. Очень опасно.

Николай ступил во двор, как солдат в кабинет генерала. Для смелости он мурлыкал себе под нос «Smoke on the Water», плечо оттягивала сумка с инструментами. «В случае чего, – подумал он, – буду отбиваться молотком и монтировкой».

И только он это подумал, как раздалось грозное рычание, и откуда-то сбоку выбежала огромная лохматая собака. Николай похолодел: этот пес разделяется с ним за минуту; он представил, как желтые клыки впиваются ему в горло.

В это время с другой стороны двора показалось несколько собак поменьше. Их рычание было еще грознее, чем у лохматого пса.

«Ну всё, – мелькнуло в голове Николая, – быть мне сожранным бродячими собаками!» Однако несмотря на парализующий страх, он отметил про себя, что особого огорчения при этом не испытал, только, может быть, легкое сожаление. Наверное, сказывалась усталость, накопившаяся в теле за долгие годы поисков этого таинственного дома, а может, ему уже надоело бояться – всего на свете?

Собаки неспешно приближались к нему, прибавляя грозности в рычании.

«Сначала они со мной разберутся, а потом уже между собой, – подумал он. – Наверное, у собак это имеет значение – первостепенность разрывания на лоскуты; я для них важнее их собственной вражды. Это можно считать уважением...»

Собаки остановились в трех шагах от Николая, припали на передние лапы, их рычание перешло в хрип.

Николай зажмурил глаза.

И тут прозвенела команда:

– Назад! К ноге!

И тотчас злобное хрипение стихло, вдруг перешло на нестрашное повизгивание.

Николай открыл глаза. У подъезда дома стояла красавица – длинноногая блондинка, фотомодель, золотое сечение 80-60-80, на высоко вздымающейся груди значок «Ворошиловский стрелок».

Собаки легли у ее ног.

«У этих ног любой бы прилег!» – подумал Николай, а вслух сказал:

– Здравствуйте! Просто не знаю, что без вас со мной случилось бы... Покусали бы, наверняка покусали...

Красавица засмеялась прокуренным голосом:

– Испугался!

Он тоже засмеялся, но так хрипло, как у нее, у него не получилось. Он бросил курить пять лет назад. Как пропала в киосках его любимая «Прима», так он и бросил. «Прима» была ему и по вкусу, и по карману.

– Любой бы испугался, – признался он.

Она оценила его прямодушие:

– Честный!..

Он подошел к ней. Собаки забеспокоились, но она успокоила их:

– Лежать!

Николай протянул красавице руку, представился:

– Коля... Вообще-то все зовут Николаем, но мне нравится, чтобы звали Колей... Как-то мягче звучит, не находите?

– Конечно, мягче, просто как пух, – сказала она, и тоже назвала свое имя: – Коза... Ой, извините... Меня подруги в шутку называют Козанострой – за веселый нрав, а вообще-то я – Катерина, Катя...

– Очень приятно! – сказал Коля-Николай. – Вы, должно быть, хозяйка этих песиков? На прогулку их вывели?..

– Да, хозяйка. Конечно, на прогулку, – согласилась она. – Люблю животных, никуда не денешься от этой слабости. У меня их сорок восемь в двух... коллективах, что ли..., в двух бригадах. Пришлось взять шефство над ними.

– Хлопотно, наверное? – предположил Коля. – Да еще с вашей внешностью...

– Что-нибудь не в порядке с внешностью? – всполошилась она, достала из сумочки зеркальце.

– Все в порядке с вашей внешностью, я хотел сказать – вашей красотой, – бросился он убеждать ее.

– Вы мне льстите, – не без кокетства сказала она, – но, тем не менее, приятно слышать...

– А мне приятно это говорить...

Обмен любезностями грозил затянуться надолго, поэтому Коля-Николай прервал сам себя и спросил:

– Вы здесь живете?

И не дождавшись ответа, продолжил:

– Если это так, то вы должны знать, где находится комната, в которой...

– В которой брошенная библиотека! – перебила она его. – Тыщи книг, жуть! Чудно!.. Чудно не потому, что бросили книги, а потому, что все они или без пер-

вых страниц, или без последних, во многих из них вырваны самые интересные места... Комната эта находится в подземном этаже дома, его раньше называли «электрическим»...

– Нет, не библиотеку я ищу, – ответил Николай, – хотя это тоже очень интересно; я где-то читал об этих книгах, даже фамилию запомнил владельца – Бочаров. Но ищу я комнату, в которой на стене...

– На стене осень, – опять перебила она его. – Картина такая желтая...

– Здесь, здесь она? – загорелись у него глаза.

– Здесь, – разочарованно произнесла повелительница собак, – но ничего в этой картине интересного нет – только пустота, только скука. Я не понимаю, зачем художник истратил столько красок, израсходовал столько времени, мучился, ожидая вдохновенье, – и все для того, чтобы написать ничто, нарисовать никого?

– Может, Малыгин – певец незагроможденных пространств? – вставил слово Коля-Николай. – Поэт пустынь, акын желтых песков?.. Кто-то ведь должен изображать то, чего нет на свете, но может быть... Не для того ли мы живем, чтобы всё придумывать и всё разгадывать? И потом – так ли пуста пустота, так ли абсурден абсурд?..

Катерина махнула рукой, дескать, все это безнадега. Художник должен свой бесконечный мир раскрывать нам, у нас дух должно захватывать – вот она какая бесконечная вселенная! Это ведь большое счастье – уметь поделиться счастьем, и мы ждем и надеемся хоть одним только глазком взглянуть на чужое счастье, замаскированное под наше собственное, а вместо этого нам суют под нос жуткую желтую пустоту, и мы понимаем – это одиночество... это распад, это даже не проигранное сражение, не капитуляция в войне – это проигранная жизнь, причем на всех фронтах.

Коля-Николай прищурился:

– Вы, я вижу, оптимистка...

– Я сказала бы иначе: позитивистка...

– Чем вы занимаетесь? – спросил он.

– Как и вы, я занята поиском, и тоже часто поиском того, что мне не принадлежит...

– Боюсь вас неверно понять, но, кажется, догадываюсь, какое ремесло вы избрали...

– Да, я главарь разбойной шайки! – произнесла она с нажимом.

Он непроизвольно сделал шаг назад:

– Вряд ли вы позаритесь на мое имущество...

– Да уж! – оглядела она его с ног до головы: грязная мятая кепка, обвислое пальто цвета старой медведицы, разбитые летние туфли – явно не по сезону, потрескавшиеся черные перчатки, издали напоминавшие обожженные, обуглившиеся ладони. – Не позарюсь!..

Она задумалась на секунду, сказала:

– У нас первая в мире степная женская шайка, и все, так сказать, творческие работники – девушки, притом – красавицы. А вот среди технического персонала есть и мужчины, прошедшие строгий контроль... Так вот, технического персонала нам не хватает. Хотите, примем вас на должность заведующим отделом стрелкового оружия? Или заматамана по хозяйственной части?

Он покачал головой:

– У меня таланта нет к этой безусловно интересной профессии... И потом разбой это чаще всего коллективный труд, он требует слаженности, дисциплины, строгого соблюдения законов шайки, а я шатун-одиночка... Боюсь, не сумею оправдать ваших надежд и тогда вам придется как-то избавляться от меня...

Красавица холодно улыбнулась:

– Вы правы, тогда выход один. Мы застрелим вас!..

Пока они вели содержательную дискуссию, из подъезда обреченного дома вышло с десятков блондинок, ярких, как новые заплатки на старом сером плаще. Золотистые тона разбавили сумрак векового двора, ароматы шанелей напомнили, что до парижей, венеций, ахтубинсков совсем недалеко. Выкатились из дома непримиримые огромные псы и злобные маленькие собачки, забывшие ради общего дела на минуту свою ужасную вражду.

А какое общее дело им сейчас предстояло?

«Какое?» – спросил у себя Коля-Николай и почувствовал, как испарина покрыла его высокий лоб.

– Вообще-то я не думаю, что мы можем вас отпустить и сейчас, – сказала предводительница банды «Жадо» и собачьих стай.

Блондинки сомкнули ряды, в руках сверкнули ножи.

Собаки грозно зарычали.

«Даже если они носят лифчики и употребляют одеколоны наружно, – подумал Коля-Николай, – бандиты они есть бандиты, ни милосердия у них, ни простой человечности». И он закрыл глаза, готовясь к самому худшему.

«Вот же, стоило родиться, учиться (правда, на тройки), служить в ракетных войсках, все время борясь с искушением запустить ракету куда-нибудь на Луну или на Марс, – размышлял он, – а в итоге – отправиться на корм собакам и собачкам...»

– Однако, – перебила его невеселые мысли начальница над разбойницами и одичавшими псами, – ничто человеческое нам не чуждо. Почему это самое человеческое нам должно быть чуждым? Почему?.. Вот вы, по случаю, женаты?.. – спросила она, чуть-чуть поразмышляв.

– Нет, по случаю, не женат, ни капельки не женат.

Надежда вползла ему в душу. Наверное, не зря спросила красавица, может быть, хочет выдать за него одну из своих подручных? Закатить пир на весь мир? А когда будет догорать на этом пиру последняя свеча, девушки раскаются в содеянных злодеяниях, поклянутся, что свернут с кривой дорожки и ступят на путь добра. Позже, закончив профессионально-техническое училище, они станут помощницами машинистов электропоездов или заведующими салонов красоты, и все до единой выдут замуж за олигархов, само собой, кроме той, что полюбит Колю-Николая, и уедут в счастливую страну Финляндию или Норвегию, тоже счастливую страну.

– Женихов становится все меньше, – атаманша как будто услышала его мысли, – а богатых тем более...

Коля-Николай не очень вежливо прервал ее:

– Если в ваши планы сегодня не входит убийство, то не могли бы вы проводить меня к той самой комнате, где на стене желтая картина?..

– Конечно, – грустно ответила предводительница первой в мире степной женской банды.

Грустно ей стало оттого, что женщине, даже такой могущественной, трудно добиться, чтобы ее выслушали.

И они пошли с ней по коридорам заброшенного дома, только раз она оглянулась, приказала банде:

– Сегодня берем ликерку! Работайте без меня!

И негромко сказала, обращаясь к Коле-Николаю:

– Третий налет на ликеро-водочный завод за последние два месяца... Удобно – завод неподалеку, да и продукция у него – выше всяких похвал, у нас она не залеживается... Брать деньги в банках дело и опасное, и хлопотное: цены растут, инфляция давит, народ полюбил золото, драгоценности. Вот мы и берем готовым товаром. На той неделе семь самосвалов с зубным эликсиром отбили у благотворительного каравана ЮНЕСКО..., или нет-нет – у экспедиторов ОРГБОРЧУДа... (Для тех, кто не знает, ОРГБОРЧУД – организация по борьбе с чудовищами).

Коридор, по которому они шли, казался бесконечным, а может, он таковым был на самом деле. Они поворачивали то налево, то направо, то опять налево, а иногда подолгу шли все прямо, прямо и прямо.

– А снаружи дом не кажется таким большим, – сказал Коля-Николай.

– Он совсем небольшой, это коридор такой огромный, а дом всего ничего, – ответила она.

– Этот коридор похож на одиночество, – сказал он. – Темный и пустой... И бесконечный...

– Я могла бы выйти за вас, – негромко произнесла атаманша.

Но Коля-Николай не услышал ее, или сделал вид, что не услышал. Он заглянул в ее глубокие, пылающие кошачьим огнем глаза (конечно, конечно, повелевать собаками может только кошка), и ему показалось, что в них мелькнула затаенная грусть.

– Станный у вас город, – сказал он, – такое ощущение, что его нет. Наверное, он был здесь когда-то, но исчез. Засосали его желтые пространства, засыпали зыбучие пески. И это хорошо... Пропал город-абсурд.

– Он есть, – возразила ему она. – Он будет всегда... Вы ведь знакомы с философией существования... экзист?..

– Не знаю я никакой философии, – почти грубо ответил он. – Я простой путешественник...

– Не археолог? – спросила она. – Это так заманчиво – вызволять из-под земли прошлое...

– Нет, я не археолог, – ответил он, – я просто хожу, смотрю...

– Какая интересная жизнь – ходить и смотреть, – задумчиво сказала она.

Казалось, ей всё было в нем интересно. А ведь полчаса назад она готова была резать его.

Под ногами зашуршал песок, наверное, через разбитые окна нанесло, и она остановилась у заколоченной двери:

– Всё, пришли... Вот эта комната... А заколотили ее мои девчата, мало ли что!.. Неизвестно кто может со временем проснуться у этой двери, крику потом не оберешься: «здесь жил гений!», «здесь бывал другой гений!», «здесь гениев не счесть!»... Открывайте смелее!

Коля-Николай вытащил из сумки с инструментами молоток, примерился и ударил по одной из досок, крест-накрест закрывающих дверь. Доска завибрировала,

сосновый стон пошел по коридору. Он ударил еще раз, и доска опять откликнулась стоном. Как будто сожалела о том, что может случиться, поддайся она.

– Нужна монтировка, – со знанием дела сказала предводительница Катерина. – Молотком не возьмешь...

Была припасена и монтировка. Но хотя силы были укреплены портфейным – с Малыгиным в «Голубом Дунае», переименованном в «Кафе национальных блюд» – настырное дерево опять не поддавалось. Коля-Николай нажимал изо всех сил, но доски стояли насмерть, как преторианцы.

– Плоскогубцы! – скомандовала атаманша, как хирург в операционной.

Но и они не справились с заколоченной дверью.

– Лом!..

Лома не нашлось в сумке с инструментами.

– Дрель!..

Дрели тоже не было.

– Чем сильнее запор, тем пустячнее тайна, которую он охраняет, – сказала Катерина. – Это закон природы...

– Пустячных тайн не бывает, – ответил Коля-Николай. – Законы врут. И мы всё время убеждаемся в этом. Верна только «Теория пыли», сформулированная некогда великим путешественником Александром...

Она хмыкнула, сказала:

– Теоретики с рюкзаками, да? Блуждающие теоретики?..

– Он путешествует налегке, без рюкзака, – ответил он. – А если быть точным, то полностью голый...

– Понятно, – сказала она, но было заметно, что ей как раз не очень понятно.

Он еще раз-другой ударил по двери молотком, но она была прочнее крепостных ворот.

– Оставь ты этот штурм! – незаметно они перешли на «ты». – Зачем тебе эта никчемная картина?

Коля-Николай ударил еще раз: нет, он не отступится.

– Вы, бандиты, чисто конкретные люди, – сказал он, – вам надо точно знать, в каком сундуке что лежит, в какой банк привезли сегодня выручку. Вы глаз не сводите с ювелирного магазина, заранее рассчитываете каждый свой шаг, по минутам расписываете свои налеты. А я не знаю, для чего мне этот желтый пейзаж, почему именно я хочу добраться до него. Скажешь, в этом нет логики, но она мне противна, логика... Мы только и делаем, что ищем логику – во всем – хотя чаще всего нам попадается именно то, в чем логики никакой и не ночевало. Мы и ищем всегда не то, и находим всегда не то. Иначе нам нечего было бы объяснять.

– Да, бандитам этого не понять, – сказала Катерина грустно, – мы всегда идем за тем, что нам нужно. А здесь без перфоратора не обойтись...

– Перфоратора?

– Ну да, это такая мощная сверлильная машина, я могу на бумажке написать: пер-фо-ра-тор... А можно вырвать страницу из специальной строительной книги; нам повезло, что книг тут полно... Да, Бочаров оставил...

С этой страницей он отправился в магазин, Катерина осталась его ждать у заколоченной двери.

Дом был наполнен неясными звуками. Сначала ей показалось, что кто-то совсем рядом негромко поет, да так ясно, что можно было разобрать все слова:

«Смело мы в бой пойдем за суп с картошкой, и повара уьем...» Но как только она поняла, что именно эту песню она любила петь в детстве, пение стихло, растворилось в других звуках. Начали скрипеть половицы, как будто по коридору грузно шагали невидимые люди, причем они далеко не уходили, разворачивались и скрипели в обратном направлении. А потом и скрип пропал, и раздался детский плач. Кто-то рыдал тоненьким голоском, да так горько, как будто заранее оплакивал свою непутевую жизнь.

«А ведь это я плачу», – догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо», и тут же плач стих.

«Наверное, по дому скитаются остатки прежних жизней, крошево из несчастий, забытые привычки, брошенные привязанности, – думала она, – а куда они денутся, когда дом убьют? Может, они поселятся в бывшем “Голубом Дунае”, который теперь стал “Кафе национальных блюд”, ведь там самая высокая концентрация выплаканных слез?..»

Коля-Николай пришел с перфоратором наперевес. Предвкушение светилось в его пытливых глазах.

– Кое-как нашел эту технику, – сказал он. – Должно быть, все что-то ломают... Верно говорят, что ломать – не строить. Как ты думаешь, все ли крушащие знают, что они делают?

Не дождавшись ответа, он включил перфоратор, и тот загрохотал, как пулемет. Кажется, даже запахло порохом.

Упрямое дверное дерево дрогнуло, полетели щепки. Минута – и пневматическое сверло прошло сквозь сосновую толщу дверной филенки. Коля-Николай вытащил инструмент, и в образовавшееся отверстие хлынул песок.

– Странно, – сказал он, – у меня такое ощущение, что мы находимся внутри огромных песчаных часов.

И он опять включил перфоратор. Через десять минут всё было кончено – дверь упала под ноги, как подъемный мост в сдавшемся замке.

– Вот это да! – сказала Катерина.

– Ни фиги себе! – выразил так удивление Коля-Николай.

Никакой картины в комнате не было. От самой двери глазам открывалось бескрайнее желтое пространство: где-то далеко рычал невидимый грузовик, забуксовавший в этой глиняной и песчаной пустоте, холодный ветер пронизывал насквозь, швырял в лицо пригоршни снега. Полыхнула желтая молния, и гром покотился к черному горизонту. Не то весна, не то осень, не то зима – не поймешь. И лето такое бывает.

– Где же комната? – прошептала пораженная Катерина. – Я же сама ее видела в прошлый вторник, она была здесь, и картина висела на стене...

– Пришел другой вторник, – сказал Коля-Николай.

– Мы попали внутрь этой картины! – догадалась предводительница собачьих стай и банды «Жадо». – Ужас! А небо здесь какое низкое и тоже желтое!..

– А может, оно золотое? – предположил он, и в ответ вспыхнула еще одна золотая молния. И ударил гром.

– Пойдем? – сказал он и сделал шаг в сторону пустыни. – Посмотрим, что тут есть...

– Да ты что! – опасливо посмотрела на небо атаманша. – Пойти сюда – значит пропасть навеки в этой бескрайности и электрической жути!..

– Как хочешь, – сказал он с сожалением, – вдвоем было бы не так скучно... Думаешь, что собаки без тебя пропадут?.. Девушки твои одичают? Да ничего с ними не станет. Собак разберут дачи охранять, девушки замуж повыскакивают... А здесь чистый голд...

– Хочешь, я тебя буду ждать? – спросила она и положила ему руки на плечи.

– Жди, – коротко сказал он.

Она поняла, что он не вернется. Никто и никогда не возвращается... Кто бы и куда бы ни отправлялся, норовит не возвращаться; и что у людей за дурная привычка такая? Пропал в тайной комнате, которая сама пропала, Иванов, исчез художник Малыгин, и вот еще один бедолага отправляется в мутное необъясненное пространство.

Неужели никто так и не скажет, куда все уходят, и даже толком попрощаться не могут? И зачем уходят?

Может, всё-таки ученые возьмутся за исследование этого, до конца не исследованного, явления? Может, они успокоят человечество или хотя бы сумеют правдоподобно соврать? Дескать, нечего тревожиться, там, в желтой дали, ничего страшного нет, живут такие же, как мы, люди, даже, пожалуй, получше нас, и пенсии у них побольше, и пиво дешевле, а летом грохочут грозы, а зимой докучают метели... Скучновато там, а так вообще-то терпимо... Заходите, если что.

– Ну, я пошел, – сказал он. – До встречи...

Катерина поняла: не хочется ему туда. Но он пойдет.

Она не сдержалась, всхлипнула, на глаза навернулись слезы, и в этих слезах растворился, пропал последний человек, который ищет неизвестно что.

– Я буду ждать! – сказала она.

Холодная зимняя молния прошипела над ее головой.

